

Санд Ж.



**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
ПИЧЧИНО**

Собрание сочинений

Жорж Санд

Пиччинино

«Алгоритм»

1847

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Пиччинино / Ж. Санд — «Алгоритм», 1847 — (Собрание сочинений)

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. В данный том вошел роман «Пиччинино» – произведение с обилием приключений, со сложной и запутанной интригой, полное роковых семейных тайн и примеров возвышенной любви, населенное героями и злодеями «классической мелодрамы», по выражению самого автора.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

© Санд Ж., 1847
© Алгоритм, 1847

Содержание

I	5
II	10
III	15
IV	20
V	25
VI	30
VII	35
VIII	39
IX	44
X	49
XI	54
XII	60
XIII	65
XIV	70
Конец ознакомительного фрагмента.	73
Комментарии	

Жорж Санд Пиччинино

*Моему другу Эмманюэлю Араго^[1] в память о вечере, проведенном
в семейном кругу*

I Путник

[2]

Область, называемая Piedimonta¹ и простирающаяся от подножия Этны до самого моря, где лежит город Катания, представляет собой, по отзывам всех путешественников, самую прекрасную страну в мире. Поэтому я и решил избрать ее местом действия для истории, рассказанной мне с условием не называть ни селений, ни подлинных имен ее героев. Итак, друг читатель, соблаговоли перенестись воображением в область, именуемую Valdemona, что значит Долина Демонов. Это чудесный край, который, однако, я не намерен описывать тебе подробно, по той простой причине, что совершенно его не знаю, а хорошо описывать то, что известно лишь понаслышке, – вещь невозможная. Но ведь есть столько прекрасных книг о путешествиях, к которым ты можешь обратиться, если, впрочем, не предпочтешь посетить этот уголок лично; я бы и сам охотно совершил подобное путешествие хоть завтра, но только не вместе с тобой, читатель, ибо при виде тамошних чудес ты стал бы бранить меня за то, что я плохо их описал, а в дороге нет ничего хуже, чем спутник, читающий тебе наставления.

В ожидании лучших времен фантазии моей угодно, чтобы я увел тебя подальше, по ту сторону гор, оставив в покое мирные селения, которые я так охотно избираю местом действия своих рассказов. Причина здесь самая пустая, но я все-таки сообщу ее тебе.

Не знаю, помнишь ли ты – раз уж ты так добр, что читаешь мои сочинения, – как год тому назад я представил на твой суд роман под заглавием «Грех господина Антуана», где события разворачиваются на берегу Крёзы, и главным образом – среди развалин старого замка Шатобрён. Дело в том, что замок этот существует на самом деле, и хотя он находится в десяти лье от моего жилища, я неизменно каждый год совершаю в те края по крайней мере одну прогулку. В этом году меня там весьма недружелюбно встретила старая крестьянка, приставленная стеречь эти развалины.

– Коли правду говорить, – сказала она на своем полуберрийском, полумаршском наречии, – так я на вас в большой обиде. Звать-то меня вовсе не Жанилла, а Женни, и дочки у меня никакой нет, и вовсе я своего барина за нос не вожу, и барин мой блузы не носит, это уж вы приврали, я его в блузе и не видывала! – и т. д. и т. д. – Грамоте я не знаю, – продолжала она, – а вот знаю, что вы про меня и про моего барина дурное написали, и за это я вас больше не люблю.

Таким образом мне стало известно, что неподалеку от развалин Шатобрёна живет некий престарелый господин де Шатобрён, который не носит блузы. Вот, впрочем, все, что я о нем знаю.

Но это научило меня, каким нужно быть осторожным, когда пишешь о Марше или о Берри. Вот уж который раз со мной случается нечто подобное: лица, носящие имя одного из

¹ У подножия горы (искаж. ит.).

моих героев или живущие в описанных мною краях, обидевшись и пылая гневом, обвиняют меня в клевете, никак не желая поверить, что имена их я взял случайно и понятия не имел о самом их существовании.

Чтобы дать им время успокоиться, пока я снова не принялся за старое, я решил прогуляться теперь по Сицилии... Но как же мне быть, чтобы случайно не упомянуть лица или места, в самом деле существующего на этом прославленном острове? Ведь героя-сицилийца не назовешь Дюраном или Вольфом, и на всей карте Сицилии не найти названия, которое походило бы на Понтуаз или Баден-Баден. Поневоле придется мне дать своим персонажам и местностям имена, оканчивающиеся на *a*, на *o* или *u*. Не слишком заботясь о географической точности, я выберу такие, которые легко произносятся, и заранее заявляю, что у меня нет в Сицилии даже знакомой кошки, а следовательно, не может быть и намерения кого-либо там описать.

После всего сказанного я считаю, что волен выбирать любое имя, а выбор имен — это самое трудное для писателя, желающего искренно полюбить создаваемые им образы. Прежде всего мне нужна княжна с блестящим именем — одним из тех, что высоко возносят особу, которая его носит. А в том краю столько красивых имен! Акалия, Мадония, Валькорренте, Вальверде, Примосоле, Трестери и т. п., и все они ласкают слух, как прекраснейшие аккорды. Но если случайно в каком-либо знатном семействе, носящем имя своего феодального поместья, приключилась история, подобная той, какую я собираюсь рассказать, история, надо признаться, довольно щекотливая, меня, пожалуй, опять обвинят в злословии и клевете. К счастью, Катания отсюда далеко, романы мои вряд ли читаются по ту сторону мессинского маяка, и я надеюсь, что новый папа из милости продолжит то, что его предшественник совершил по неизвестной ему самой причине, то есть оставит меня в списке авторов, запрещенных католической церковью. Это позволит мне свободно говорить об Италии, в то время как в Италии, а тем более в Сицилии, об этом никто и знать не будет.

Итак, княжну свою я назову княжной Пальмароза. Ручаюсь, что ни в одном романе вы не найдете столь звучной и, можно сказать, столь цветистой фамилии. Следует, однако, подумать и об имени, данном княжне при крещении! Назовем ее Агатой, ибо святая Агата считается покровительницей Катании. Но я попрошу читателя произносить именно Агата, следуя местному обычаю, даже тогда, когда мне, по рассеянности, случится написать это имя на французский лад, то есть без *a* на конце.

Героя моего будут звать Микеланджело Лаворатори, только не спутайте его со знаменитым Микеланджело Буонаротти, умершим по меньшей мере за двести лет до рождения моего Микеле.

Что касается времени описываемых событий, а это еще одно досадное затруднение в начале каждого романа, то предоставляю вам, любезный читатель, выбрать его по своему усмотрению. Но поскольку мои действующие лица будут исповедовать идеи, имеющие хождение в современном обществе, и мне, при всем моем желании, невозможно говорить о них как о людях прошлых времен, история княжны Агаты Пальмароза и Микеланджело Лаворатори происходит, очевидно, где-то между 1810 и 1840 годами. Можете по своему усмотрению установить год, день и час, с которого начинается мое повествование; мне это все равно, ибо роман мой не является ни историческим, ни описательным, и я ни в том, ни в другом отношении не претендую на точность.

Итак, в этот день... — пусть это будет, если вам угодно, ясный осенний день — Микеланджело Лаворатори пробирался извилистыми тропами то вниз, то вверх по ущельям и ложбинам, бороздящим склоны Этны и спускающимся к плодородной Катанской равнине. Герой наш прибыл из Рима, переправился через Мессинский пролив и пешком добрался до Таормины. Отсюда, очарованный зрелищем, со всех сторон открывшимся его взору, и не зная, куда смотреть — то ли на морское побережье, то ли на горы, он уже пошел почти наугад,

колеблясь между желанием поскорее обнять отца и сестру и соблазном поближе подойти к гигантской огнедышащей горе, глядя на которую готов был согласиться с мнением Спалланцани^[3], что Везувий по сравнению с ней не более как игрушечный вулкан.

Так как Микеланджело путешествовал в одиночестве и пешком, он не раз сбивался с пути среди застывших лавовых потоков, образующих где обрывистый утес, а где лощину, покрытую роскошной растительностью. Когда непрестанно то поднимаешься в гору, то спускаешься с кручи, путь поневоле оказывается длинным, но на деле весьма мало подвигается вперед, и дорога из-за подобных естественных преград становится вчетверо длиннее. Микеле потратил целых два дня на то, чтобы пройти расстояние в каких-нибудь десять лье, отделяющих по прямой линии Таормину от Катании. Но теперь он был уже близко, почти у цели, ибо, миновав Кантаро и Маскарелло, Пьяно-Гранде, Вальверде и Маскалучью, он оставил наконец вправо от себя Санта-Агату, а влево – Фикарацци и находился уже не более чем в одном лье от предместья города. Еще какие-нибудь четверть часа, и все трудности его пешего путешествия окажутся позади; несмотря на восторженное изумление, которое должна была внушать молодому художнику столь величественная природа, он достаточно натерпелся в дороге от жары в ущельях, от холода на горных вершинах, от голода и усталости.

Но на склоне последнего холма, который ему предстояло еще преодолеть, проходя вдоль стены громадного парка и устремив взор на город и гавань, он заспешил, чтобы наверстать упущенное время, споткнулся о корень оливы и сильно ушиб ногу; боль была очень резкой, так как после двух дней ходьбы по острым обломкам окаменевшей лавы и горячему пуццолану^[4], башмаки его износились и ноги были все изранены.

Вынужденный остановиться, он увидел, что находится перед небольшой нишей, где стоит статуя мадонны. Эта маленькая часовня с выступающим каменным навесом и скамьей служила гостеприимным убежищем для прохожих и удобным местом ожидания для нищих, монахов и прочего бедного люда, ибо была расположена у самых ворот виллы, изящное здание которой было видно нашему путнику сквозь листву тройного ряда апельсиновых деревьев, окаймлявших длинную аллею.

Микеле, скорее досадуя на эту внезапную боль, чем страдая от нее, сбросил дорожный мешок, сел на скамью, вытянул ушибленную ногу и вскоре совсем позабыл о ней, погрузившись в раздумье.

Чтобы познакомить читателя с мыслями молодого человека и вызвавшими их причинами, следует рассказать о нем подробнее. Микеле было восемнадцать лет, и он учился живописи в Риме. Отец его, Пьетранджело Лаворатори, был простым мастером-живописцем, впрочем весьма искусным в своем деле. Известно, что в Италии ремесленники, расписывающие стены и потолки, – почти художники. То ли в силу традиции, то ли вследствие прирожденного вкуса, они создают чудесные орнаменты, и в самых скромных жилищах, даже в убогих харчевнях, взор наш радуют гирлянды и розетки в прелестном стиле, а то и просто бордюры, удивительно удачно дополняющие своим цветом гладкий тон панелей и обшивок. Росписи эти нередко бывают выполнены с не меньшим совершенством, чем наши бумажные обои, но намного превосходят их свободой исполнения, свойственной всякой ручной работе. Ничего нет скучнее, чем строгий правильный орнамент, созданный машинами. Красота китайских ваз, да и всех вообще китайских изделий, заключается именно в той причудливой непринужденности, которую только рука человека может придать своим произведениям. Изящество, свобода, смелость, неожиданные находки, а подчас даже наивное неумение придают декоративной живописи особое очарование, с каждым днем все реже встречающееся в нашем обществе, где все начинает производиться машинами и станками.

Пьетранджело был одним из самых искусных и изобретательных *adornatori*². Уроженец Катании, он жил в ней со своим семейством вплоть до рождения Микеле, когда вдруг неожиданно покинул родину и переехал в Рим. Причину своего добровольного изгнания он объяснял тем, что семья его увеличивается, что в Катании у него слишком много конкурентов, работы у него становится все меньше, словом – что он хочет попытать счастья на чужой стороне. Но тайком поговаривали, будто он бежал от гнева неких вельмож, весьма могущественных и весьма преданных неаполитанскому двору.

Всем известна ненависть, которую завоеванный и порабощенный народ Сицилии питает к правительству, находящемуся по ту сторону пролива. Гордый и мстительный сицилиец вечно бурлит, как и его вулкан, а подчас и извергает огонь. Ходили слухи, будто Пьетранджело оказался замешанным в народном заговоре и вынужден был бежать вместе со своим семейством и своими кистями. Его жизнерадостный и благодушный нрав, казалось, исключал подобные предположения, но живому воображению жителей катанского предместья необходима была необычайная причина, чтобы объяснить внезапный отъезд любимого мастера, о котором жалели все его товарищи.

В Риме, однако, он не нашел счастья, ибо потерял там всех своих детей, кроме Микеле, а некоторое время спустя умерла и его жена, подарив жизнь девочке; юный брат стал ее крестным отцом, и назвали ее Мила – уменьшительное от Микеланджело.

Оставшись только с двумя детьми, Пьетранджело стал менее веселым, но зато более обеспеченным и, работая без устали, сумел дать своему сыну воспитание, намного превосходившее то, какое получил сам. К этому ребенку он проявлял особую любовь, доходившую порой до слабости, и хотя Микеле рос в бедной и скромной семье, он был изрядно избалован.

Старших своих сыновей Пьетранджело заставлял трудиться, с ранних лет стараясь внушить им тот рабочий пыл, каким отличался сам. Но небо не послало им тех сил, какими обладал их отец, и они погибли, не выдержав чрезмерного напряжения. То ли наученный печальным опытом, то ли считая, что теперь, когда в семье осталось всего трое, включая его самого, он и один сумеет прокормить ее, но только Пьетранджело, казалось, больше думал о здоровье своего младшего сына, чем спешил сделать из него мастера, способного заработать себе на хлеб.

Мальчик, однако, очень любил рисовать и, играя, рисовал плоды, цветы и птиц, прелестно их раскрашивая. Однажды он спросил у отца, почему тот никогда не изображает на своих фресках человеческие фигуры.

– Еще чего захотел – фигуры! – ответил благоразумный Пьетранджело. – Их надо делать либо очень хорошо, либо вовсе за них не братья. Мне для этого недостает умения. Мои гирлянды и арабески всем нравятся, но если на потолке у меня запляшут хромые амуры и горбатые нимфы, меня засмеют все знатоки.

– А что, если попробую я? – спросил мальчик, который робостью не отличался.

– Попробуй сначала на бумаге; может, для твоих лет получится и неплохо, но только ты скоро сам увидишь, что без учения нет и умения.

Микеле попробовал. Пьетранджело показал рисунки сына любителям и даже художникам, и все признали у мальчика большие способности и посоветовали не связывать ему рук, приучая к труду ремесленника. С того времени Пьетранджело решил сделать из сына живописца, послал его в одну из лучших мастерских Рима и полностью избавил от приготовления красок и малевания стен.

«Одно из двух, – справедливо рассуждал он, – либо из этого ребенка выйдет художник, либо, ежели способности его не так уж велики, он вернется к орнаментам; зато у него будут

² Декораторов (*ит.*).

знания, каких у меня нет, и в своем деле он станет первостепенным мастером. Так или этак, а жить ему будет легче, и обеспечен он будет лучше, чем я».

Нельзя сказать, чтобы Пьетранджело был недоволен своей участью, но он отличался тем легкомыслием и даже беспечностью, которые свойственны очень трудолюбивым и очень здоровым людям. Он всегда полагался на судьбу, может быть, потому, что рассчитывал при этом на собственные руки и собственное трудолюбие. Но будучи человеком умным и проныцательным, он рано подметил у Микеле искру честолюбия, которого у других его детей не было. Отсюда он заключил, что та степень благополучия, которой достиг он сам, для более сложной натуры Микеле окажется недостаточной. Чрезмерно терпимый, он твердо верил, что у каждого человека есть врожденные способности, определить которые может лишь он сам, а потому уважал чувства и склонности Микеле, как дарованные ему свыше, и в этом оказался столь же великодушным, сколь и неосторожным.

Ибо неизбежным следствием этой слепой снисходительности явилось то, что Микеланджело, никогда не испытывший ни горестей, ни страданий, привык ни в чем не знать отказа и считать себя личностью более значительной и интересной, чем все прочие. Свои прихоти он часто принимал за серьезные желания, а исполнение этих желаний считал своим правом. К тому же его рано посетил недуг, свойственный всем счастливым, а именно страх потерять свое счастье, и в самый разгар успехов он мог вдруг упасть духом при мысли о возможной неудаче. Смутное беспокойство охватывало его тогда, а так как по природе он был энергичен и смел, беспокойство это подчас рождало в нем грусть и раздражительность.

Но мы глубже проникнем в его характер, если подслушаем те мысли, которые занимают его у ворот Катании, в маленькой часовне, где он только что остановился.

II

История путника

Но я забыл объяснить – а вам нужно это знать, читатель, – почему Микеле вот уже год как находится в разлуке с отцом и сестрой.

Несмотря на хорошие заработки в Риме и вопреки своему покладистому характеру, Пьетранджело никак не мог привыкнуть к жизни на чужбине, вдали от любимой родины. Как истый островитянин, он считал Сицилию страной, во всех отношениях благословенной небом, а материк – местом изгнания. Когда жители Катании говорят о страшном вулкане, столь часто истребляющем и разоряющем их, они в своей любви к родной земле доходят до того, что называют его «наша Этна». «Ах, – сказал однажды Пьетранджело, проходя мимо лавы, извергнутой Везувием, – посмотрели бы вы на наш знаменитый лавовый поток! Вот это красота! Вот это сила! Тогда вы и заикнуться бы не посмели о вашей лаве». Он имел в виду страшное извержение 1669 года, когда огненная река докатилась до самого центра города и истребила половину населения и зданий. Гибель Геркуланума и Помпей он считал сущим пустяком, «Подумаешь, – говорил он с гордостью, – я видывал землетрясения и почище! Вот приезжайте к нам, узнаете, что такое настоящее извержение!»

Он постоянно вздыхал о той минуте, когда снова сможет увидеть милый его сердцу раскаленный кратер и адскую пасть вулкана.

Когда Микеле и Мила, привыкшие видеть его всегда в добром расположении духа, замечали, что он задумчив и печален, они огорчались и беспокоились, как бывает всегда, когда видишь грустным того, кто обычно весел. Тогда он признавался, что думает о родимом крае. «Не будь у меня такого крепкого здоровья, – говорил он, – и не будь я столь благоразумен, я давно умер бы с тоски по родине».

Но когда дети заговаривали о том, чтобы вернуться в Сицилию, он многозначительно поводит пальцем, словно говоря: «Нельзя мне переезжать через пролив; избегнув Харибды, я бы разбился о Сциллу^[5]».

Раз или два у него вырвались слова: «Князь Диониджи давно уже умер, но еще жив его брат Джеронимо». А когда Микеле и Мила стали спрашивать, почему он боится этого князя Джеронимо, он, по обыкновению, погрозил пальцем и сказал: «Молчите, молчите! Зря я и произнес при вас эти имена».

Но однажды Пьетранджело, работая в одном из римских дворцов, нашел валявшуюся на полу газету.

– Вот горе, что я не умею читать! – сказал он, протягивая ее Микеле, который зашел к нему по дороге из музея живописи. – Бьюсь об заклад, тут есть что-нибудь о милой моей Сицилии. А ну-ка, Микеле, взгляни на это слово: готов побожиться, что оно значит «Катания». Да, да, это слово я узнаю. Взгляни же и скажи мне, что делается сейчас в Катании.

Микель заглянул в газету и прочел, что в Катании предполагается осветить главные улицы газовыми фонарями.

– Боже мой! – воскликнул Пьетранджело. – Увидеть Этну при свете газовых фонарей! Вот-то будет красота! – И от радости он подбросил свой колпак до самого потолка.

– Тут есть еще одно сообщение, – продолжал юноша, просматривая газету, – «Кардинал, князь Джеронимо Пальмароза, вынужден отстраниться от важных обязанностей, возложенных на него неаполитанским правительством. Его преосвященство разбит параличом, и жизнь его в опасности. До тех пор пока медицинская наука не выскажется определенно об умственном и физическом состоянии высокопоставленного больного, правительство временно поручает выполнение его обязанностей его сиятельству маркизу...»

– А какое мне дело кому? – в необычайном волнении воскликнул Пьетранджело, вырывая газету из рук сына. – Князь Джеронимо теперь отправится вслед за своим братом в могилу, и мы спасены! – И, словно опасаясь ошибки со стороны Микеле, он попытался сам, по складам, разобрать имя князя Джеронимо, а затем вернул сыну листок, прося его еще раз очень медленно и очень отчетливо прочитать сообщение.

Прослушав его вторично, он истово перекрестился.

– О Провидение, – воскликнул он, – ты дозволяешь старому Пьетранджело увидеть кончину своих притеснителей и дожить до возвращения в родной город. Обними меня, Микеле! Это событие столь же важно для тебя, как и для меня. Что бы ни случилось, дитя мое, помни: Пьетранджело был тебе хорошим отцом!

– Что вы хотите сказать, отец? Разве вам еще угрожает опасность? Если вы вернетесь в Сицилию, я поеду вместе с вами.

– Мы еще поговорим об этом, Микеле, а пока... молчи! Забудь даже те слова, что у меня вывалились.

Два дня спустя Пьетранджело, сложив пожитки, уехал вместе с дочерью в Катанию. Но Микеле, несмотря на все его просьбы, он не согласился взять с собой.

– Нет, – отвечал он, – я и сам не знаю наверное, смогу ли устроиться в Катании; еще сегодня утром я просил, чтобы мне почитали газеты, и там нигде не написано, что кардинал Джеронимо умер. О нем вообще нет ни слова. А может ли человек, столь любимый правительством и столь богатый, умереть или выздороветь, не наделав при этом большого шума? Вот я и полагаю, что он еще дышит, но ему не лучше. Его временный заместитель – человек добрый, хороший патриот и друг народа. При нем я могу не бояться полиции. Ну а вдруг случится чудо, и князь Джеронимо останется жив и поправится? Ведь мне придется тогда как можно скорее возвращаться сюда, в Рим; к чему же тебе прерывать свои занятия и пускаться в это путешествие?

– Но в таком случае, – сказал Микеле, – почему бы и вам не подождать, чем кончится болезнь князя? Я не знаю, почему вы так опасаетесь его и чем может грозить вам пребывание в Катании, этого вы никогда не хотели мне объяснить, но меня пугает, что вы отправляетесь туда один с нашей девчуркой, в страну, где неизвестно еще, как вас примут. Я знаю, что полиция в самодержавных монархиях подозрительна и придирчива; если вас арестуют хотя бы на несколько дней, что станет тогда с нашей маленькой Милой в городе, где вы уже никого не знаете? Позвольте же мне, ради всего святого, поехать с вами. Я буду защищать и беречь Милу, а когда увижу, что вас не трогают, что вы хорошо устроились и решили остаться в Сицилии, я снова вернусь в Рим, к своим занятиям.

– Да, Микеле, я все это знаю и понимаю, – ответил Пьетранджело. – У тебя самого нет ни малейшего желания переехать в Сицилию, и твоему юному честолобию не по вкусу жизнь на острове, где, как ты думаешь, нет ни памятников искусства, ни возможности заниматься им. Но ты ошибаешься, у нас столько чудесных памятников! В Палермо их просто не счесть! А Этна? Да ведь она – самое дивное зрелище, какое только природа может явить глазам художника. А что до картин, у нас их тоже достаточно. Морреалес^[6] подарил нашей Сицилии немало шедевров, которые вполне можно сравнить с сокровищами Рима или Флоренции.

– Простите, отец, – сказал, улыбаясь, Микеле, – но Морреалес никак не может сравниться ни с Рафаэлем, ни с Микеланджело, ни с мастерами флорентийской школы^[7].

– А ты почем знаешь? Вот каковы они, детки! Ведь ты же не видел больших полотен Морреалеса, его лучших произведений? А какая у нас природа! Какое небо! Какие плоды! Настоящая земля обетованная!

– Но тогда, отец, позвольте мне ехать с вами, – сказал Микеле, – этого я только и прошу.

– Нет, нет, – поспешно ответил Пьетранджело, – я увлекся, расхваливая тебе Катанию, но не хочу, чтобы ты сейчас отправлялся туда; я знаю, тебя побуждает твое доброе сердце и забота о нас, но знаю также, что мечтаешь ты не о том. Вот когда тебя самого потянет на родину, когда пробьет твой час и тебя позовет судьба, тогда ты с любовью поцелуешь ту землю, на которую сейчас ступил бы с презрением.

– Все эти доводы, отец, ничтожны по сравнению с тем беспокойством, какое я буду испытывать во время вашего отсутствия. Лучше уж мне скучать и терять даром время в Сицилии, чем отпустить вас одних и терзаться здесь мыслями о грозящих вам бедах и опасностях.

– Спасибо, сынок, и прощай! – ответил старик, с нежностью обнимая его. – Если хочешь знать правду, я не могу взять тебя с собой. Вот тебе половина денег, какие у меня есть. Расходи их бережно, пока я сумею прислать тебе еще. Знай, что в Катании я не стану терять времени даром и усердно примусь за работу, чтобы дать тебе возможность продолжать твои занятия живописью. Дай мне только время добраться туда и устроиться, а уж работу я найду: у меня ведь на родине немало было покровителей и друзей, и я знаю, что кое-кого из них там встречу. А ты не воображай себе всяких там бед и опасностей. Я буду осторожен, и хотя лживость и трусость мне не свойственны, в жилах моих недаром течет сицилийская кровь, и при надобности я всегда сумею прикинуться хитрой старой лисой. Этно я знаю, как собственный карман, ущелья ее глубоки и долго смогут скрывать такого бедняка, как я. Ты знаешь, я хоть и тайно, но сохранил добрые отношения с родными. У меня есть брат, капуцин... О, это замечательный человек, и Мила в случае надобности всегда найдет у него приют и покровительство. Я буду писать – вернее, сестра твоя будет писать тебе как можно чаще, так что ты недолго останешься в неведении относительно нашей участи. Но сам ты в своих письмах ни о чем не спрашивай – полиция их вскрывает. И не вздумай упоминать в них имя князей Пальмароза, прежде чем я сам не заговорю о них.

– А до тех пор, – спросил Микеле, – я так и не узнаю, бояться ли мне этих господ, или ожидать от них милости?

– Тебе? Тебе-то, по правде сказать, бояться нечего, – ответил Пьетранджело, – но ты не знаешь Сицилии, ты не сумеешь сохранять там ту осторожность, которая необходима во всякой стране, где господствуют чужеземцы. Ты полон, как и вся нынешняя молодежь, пылких идей... Сюда, в Рим, они просачиваются тайно, а в Сицилии они глубоко запрятались и словно тлеют под пеплом вулканов. Ты еще и меня, пожалуй, подведешь: из одного вольного слова, что вырвется у тебя случайно, там сумеют состряпать целый заговор против неаполитанского двора. Прощай же, не задерживай меня более. Мне, видишь ли, нужно снова увидеть свою родину. Ты не знаешь, что значит родиться в Катании и жить вдали от нее целых восемнадцать лет, или, вернее, ты этого не понимаешь, ибо хотя ты и родился в Катании и изгнание мое было и твоим изгнанием, но вырос ты в Риме и потому, увы, считаешь его своей родиной!

Месяц спустя Микеле получил через одного прибывшего из Сицилии ремесленника письмо от Милы, сообщавшей ему, что добрались они вполне благополучно, что родные и старые друзья встретили их с распростертыми объятиями, что отец получил работу и нашел высоких покровителей, но кардинал все еще жив, и хоть теперь он уже и не столь опасен, ибо совсем отстранился от света и всяких дел, Пьетранджело пока по-прежнему не желает возвращения Микеле, ибо «мало ли еще что может случиться».

После отъезда отца и сестры Микеле грустил и тревожился, так как нежно их любил; но, получив письмо и успокоившись на их счет, он невольно ощутил радость при мысли, что находится в Риме, а не в Катании. С тех пор как отец разрешил ему посвятить себя высокому искусству живописи, жизнь его в этом городе стала чрезвычайно приятной. Он снискал расположение своих учителей, пленив их не только выдающимися способностями, но

и особой возвышенностью мыслей и выражений, не свойственных его возрасту и среде, из которой он вышел. Очутившись в обществе молодых людей, более богатых и лучше воспитанных (надо сказать, что он охотнее сходил с ними, чем с равными себе по положению сыновьями ремесленников), он тратил все свободное время на то, чтобы развивать ум и расширять круг своих понятий. Он много и жадно читал, посещал театры, беседовал с людьми искусства, одним словом – готовил себя исключительно для жизни независимой и благородной, на которую не мог, однако, с уверенностью рассчитывать.

Ибо средства бедного маляра, который отдавал ему половину своих заработков, не были неистощимы. Отец мог заболеть, а живопись – искусство столь серьезное и глубокое, что ему надо учиться долгие годы, прежде чем оно сможет стать источником дохода.

Мысль об этом страшила Микеле и временами повергала его в глубокое уныние. «Ах, отец мой, – как раз думает он в ту минуту, когда мы встречаемся с ним у ворот какой-то виллы, неподалеку от родного города, – не совершили ли вы из чрезмерной любви ко мне большой, пагубной и для вас и для меня ошибки, толкнув меня на путь честолюбия? Не знаю, достигну ли я чего-либо, но чувствую, что мне будет бесконечно трудно жить той жизнью, которую ведете вы и которая и мне предназначена была судьбой. Я не так вынослив, как вы, не обладаю физической силой, которой рабочий человек гордится так же, как дворянин – своим происхождением. Я плохой ходок, я изнемогаю, пройдя путь, который вы, отец, в свои шестьдесят лет сочли бы полезной для здоровья прогулкой. Вот и сейчас я впал в уныние, я ушиб ногу, и все по собственной вине, из-за своей рассеянности или неловкости. И, однако, я тоже сын этих гор, где, я вижу, дети бегают по острым обломкам окаменевшей лавы, словно по мягкому коврику. Да, отец прав, отчизна моя прекрасна; можно лишь гордиться тем, что ты рожден этой землей, подобно лаве, исторгнутой недрами сей огнедышащей горы! Но надо быть достойным такой отчизны, и в полную меру достойным! А для этого надобно быть либо великим человеком, поражающим мир громом и молниями, либо отважным простолюдином, бесстрашным разбойником и жить в этой глуши, полагаясь лишь на свой карабин и непреклонную волю. Подобная судьба ведь тоже полна поэзии. Но для меня все это слишком поздно, слишком многое я уже познал, слишком хорошо знаю законы, общество, людей. То, что для дикого, простодушного горца – геройство, для меня было бы преступлением и низостью. Совесть терзала бы меня за то, что я, который с помощью всех достижений человеческой мысли мог бы достигнуть истинного величия, из-за собственного бессилия опустился до положения разбойника. Итак, мне суждено остаться безвестным и ничтожным!»

Но покинем ненадолго Микеле, погруженного в раздумье и машинально растирающего ушибленную ногу, и расскажем читателю, почему, вопреки своей привязанности к Риму, где он так приятно проводил время, он оказался у ворот Катании.

Из месяца в месяц сестра писала ему под диктовку отца: «Тебе еще нельзя приезжать сюда, мы и сами еще не знаем, что нас здесь ожидает. Больной чувствует себя настолько хорошо, насколько может чувствовать себя человек, не владеющий руками и ногами. Но голова продолжает жить, и потому он сохраняет еще остаток власти. Посылаю тебе денег; трать их осторожно, дитя мое, ибо хотя работы у меня хватает, но платят здесь меньше, нежели в Риме».

Микеле старался тратить эти деньги осторожно, зная, что отец зарабатывает их в поте лица. Он содрогался от стыда и ужаса всякий раз, когда обнаруживал, что его юная сестра, занимавшаяся пряжей шелка – ремесло, весьма распространенное в этой части Сицилии, – тайком прибавила к посылке отца золотую монету и от себя. Бедной девочке, очевидно, во многом приходилось отказывать себе, чтобы брат имел возможность провести часок-другой в приятных развлечениях. Микеле дал себе клятву не прикасаться к этим деньгам, хранить их и воздать потом Миле все ее скромные сбережения.

Но он любил удовольствия, он привык жить в какой-то мере на широкую ногу и не умел экономить. У него были барские замашки, то есть ему нравилось быть щедрым, и он щедро награждал любого посыльного, доставившего ему картину или письмо. К тому же материалы, необходимые художнику, весьма дороги. А когда Микеле случалось развлекаться где-либо вместе с богатыми товарищами, он сгорел бы со стыда, если бы не внес и свою долю... Кончилось тем, что он задолжал, правда, небольшую сумму, но огромную для бюджета бедного маляра; долги росли, как снежный ком, и наступил наконец день, когда ему ничего больше не оставалось, как постыдно бежать или браться за работу куда более скромную, чем писание исторических картин. Терзаясь угрызениями совести, он истратил и те золотые, которые так твердо решил вернуть Миле. Но, видя, что ему все равно не рассчитаться с долгами, он написал отцу полное раскаяния письмо, в котором во всем ему признался.

Неделю спустя некий банкир передал ему сумму, достаточную для того, чтобы расплатиться с долгами и жить еще некоторое время по-прежнему. Потом пришло письмо от Милы, написанное, как всегда, под диктовку Пьетранджело:

«Одна добрая душа ссудила мне те деньги, которые я переслал тебе, но мне придется отработывать их целые полгода. Постарайся, дитя мое, не наделать за это время новых долгов, иначе нам никогда не расплатиться».

До тех пор Микеле не слыхал от отца ни единого слова укоризны, однако на этот раз он ожидал упреков. Его потрясли неисчерпаемая доброта и спокойное мужество честного ремесленника, и так как он не мог признать себя полностью виноватым в поступках, которых требовало от него его положение, он почел преступлением то, что согласился на эту слишком блестящую для него жизнь. Он принял тогда решение, укрепиться в котором помогла ему мысль, что он приносит великую жертву, и если у него недостает таланта, чтобы стать великим художником, он по крайней мере обладает героизмом великой души. Тщеславие сыграло здесь, таким образом, немалую роль, но тщеславие наивное и благородное. Он расплатился с долгами, распрощался с приятелями, заявив им, что бросает живопись, становится отныне ремесленником и будет работать вместе с отцом.

Затем, ничего не сообщая ему, он сложил в дорожный мешок кое-какое платье получше, альбом и акварельные краски, не замечая того, что тем самым берет с собой остатки былой роскоши и мечты об искусстве, и отправился в Катанию, куда, как мы видели, он уже почти добрался.

III

Его преосвященство

Несмотря на героическое решение отказаться от мечты своей юности, бедный Микеле испытывал в это мгновение мучительный страх. До сих пор дорога отвлекала его мысли от возможных последствий принесенной им жертвы. Вид Этны привел его в восторг. Радость близкого свидания с добрым отцом и милой сестренкой поддерживала в нем бодрость. Но это случайное происшествие – легкий ушиб ноги, вынудивший его ненадолго остановиться, – дало ему время впервые после отъезда из Рима задуматься над своей судьбой.

Вместе с тем это была такая торжественная минута для его молодой души: он уже приветствовал издали кровли родного города, одного из прекраснейших в мире, даже в глазах того, кто прибыл из Рима, ибо Катания, в силу своего расположения, представляет в самом деле ни с чем не сравнимое внушительное зрелище.

Этот город, много раз разрушенный извержениями, не выглядит древним, и господствующий в нем стиль XVII века не отличается ни величием, ни стройностью более ранних стилей; и все же, построенная свободно и по-античному широко, Катания чем-то напоминает города Греции. Черный цвет лавы, когда-то поглотившей Катанию, вновь возродившуюся теперь, подобно фениксу, из собственного пепла, окружающая город открытая равнина, гладкие лавовые утесы, навеки окаменевшие в гавани и затемняющие своим мрачным отражением даже ясные воды моря, – все здесь выглядит печально и торжественно.

Но не внешний облик Катании занимал сейчас юного путника. В его нынешнем положении этот город, изуродованный огнем, исторгнутым некогда из пещеры циклопов^[8], казался ему особенно суровым и страшным. Для него он должен был стать местом искупления и местом испытаний, при мысли о которых холодный пот выступал у него на теле. Итак, здесь придется ему сказать «прости» миру искусства, обществу образованных людей, безмятежным мечтаниям и изысканным досугам художника, призванного к высокой цели. Здесь предстоит ему, после десяти лет привольной жизни, вновь надеть фартук рабочего, взять в руки безобразное ведерко с краской и приняться за вечные гирлянды, украшающие прихожие и коридоры. А главное, здесь ему придется работать по двенадцати часов в сутки, по вечерам ложиться в постель, изнемогая от усталости, и у него не останется ни времени, ни сил, чтобы открыть книгу или помечтать в музее. Здесь не будет у него иных друзей, кроме простых сицилийцев, до того бедных и грязных, что вся живописность их черт и характера едва может пробиться сквозь лохмотья и подавляющую их нужду. Словом, городские ворота Катании казались бедному изгнаннику вратами Дантова ада.

При этом сравнении долго сдерживаемые слезы потоком хлынули у него из глаз, и всякий, кто увидел бы его сидящим у ворот дворца, юного, красивого, бледного, невольно поддерживающего рукой ушибленную ногу, непременно вспомнил бы античного гладиатора, раненного в бою и не столько плачущего от боли, сколько оплакивающего свое поражение.

Бубенцы многочисленных мулов, поднимавшихся на холм, и появление странного шествия, направлявшегося прямо в его сторону, невольно отвлекли Микеланджело Лаворатори от его грустных мыслей. Мулы были великолепные, в богатой сбруе и с султанами на головах. На длинных пурпуровых пополах сверкали кардинальские эмблемы – тройной золотой крест, а над ним – маленькая кардинальская шляпа с кистями. Мулы были тяжело навьючены, их вели под уздцы одетые в черное слуги с унылыми и угрюмыми лицами. За ними следовали аббаты и прочие духовные особы в коротких черных штанах, красных чулках и башмаках с большими серебряными пряжками. Одни ехали верхом, других несли в портшезах. На откормленном осле степенно ехал толстяк в черной одежде, с волосами,

забранными в кошелек^[9], брильянтовым перстнем на пальце и шпагой на боку. По его виду, важному, но более простодушному, чем хитрые физиономии остальных духовных особ, легко можно было догадаться, что это медик его преосвященства. Он следовал непосредственно вслед за самим кардиналом, которого несли на носилках, вернее – в большом ящике, два сильных носильщика; рядом с ними шагали для смены еще четверо. Всего в шестии было человек сорок, и степень бесполезности каждого из них соответствовала степени смирения и унижения, написанных у него на лице.

Микеле, с любопытством рассматривавший этот кортеж, чья классическая старомодность превосходила все, что ему приходилось видеть по этой части даже в Риме, встал и приблизился к воротам, желая получше разглядеть черты главного персонажа. Ему было тем легче удовлетворить свою любознательность, что носильщики остановились у высокой позолоченной решетки, и один из аббатов, отличавшийся особо отталкивающей физиономией, спешился и с высокомерным видом и какой-то странной улыбкой принялся собственноручно отпирать ворота.

Кардинал был уже очень стар; медленно подтачивавший его жестокий, изнурительный недуг превратил этого прежде тучного и румяного человека в худого, бледного старца. Кожа на лице его, дряблая и обвисшая, образовывала тысячи складок, напоминая собой почву, изборозжденную бурными потоками. Несмотря на эти страшные разрушения, следы властной красоты проглядывали еще на этом угрюмом лице, которое, то ли поневоле, то ли намеренно, оставалось неподвижным, но на котором горели еще большие черные глаза, последнее убежище упорно сопротивлявшейся жизни.

Контраст между их пронизывающим, жестким взглядом и мертвенно-бледным лицом до того поразил Микеле, что он невольно поддался охватившему его чувству почтительности и инстинктивно обнажил голову перед этим свидетельством бывшего могущества и непреклонной воли. Все, что носило печать силы и власти, действовало на воображение нашего юноши, ибо сам он честолюбиво стремился к тому же, и если бы не властное выражение кардинальских глаз, он, быть может, и не подумал бы снять перед ним свою соломенную шляпу.

Но поскольку его скромное платье и запыленная обувь изобличали в нем скорее простолюдина, чем будущего великого художника, кардинал и его свита вправе были ожидать, что он преклонит колени, – этого он, однако, не сделал, тем самым приведя окружающих в страшное негодование.

Кардинал первый заметил эту оплошность, и в ту минуту, когда носильщики готовы были уже проследовать в ворота, он сделал бровями знак, тотчас же понятый его врачом, которому дан был строгий наказ держаться все время возле носилок и не отводить глаз от глаз его преосвященства.

У врача хватало ума ровно настолько, чтобы по взгляду кардинала понять, когда тому угодно изъяснить свою волю; тогда он приказывал остановиться и призывал аббата Нинфо, секретаря его святейшества, того самого, который только что собственноручно открыл ворота ключом, вынутым из собственного кармана. Аббат тотчас же подбегал – как подбегал он и сейчас – и становился перед дверцами носилок, закрывая их своим телом от глаз остальных присутствующих. И тут между ним и кардиналом начинался таинственный диалог, настолько таинственный, что никто не мог бы сказать, изъяснялся ли его преосвященство при помощи слов, или одной игры своего лица. Парализованный кардинал обычно издавал только нечленораздельное ворчание, в минуту гнева переходившее в ужасающий рев. Но аббат Нинфо так хорошо понимал это ворчание, сопровождавшееся выразительным взглядом, что, зная характер кардинала и его намерения, он переводил на общепонятный язык и заставлял выполнять желания своего господина так толково, быстро и точно, что это казалось настоящим чудом. Остальным приближенным кардинала это казалось даже чересчур

сверхъестественным, и они предпочитали думать, что кардинал сохранил еще дар речи, но, в силу каких-то, весьма тонких дипломатических соображений, разговаривает с одним аббатом Нинфо. Правда, доктор Рекуперати уверял, будто язык его преосвященства парализован так же, как его руки и ноги, и единственное, что в его организме еще остается живым, – это мозг и органы пищеварения. «Но в таком состоянии, – прибавлял он, – можно дожить до ста лет и все еще вершить дела мира сего, подобно тому, как Юпитер потрясал Олимп одним мановением своих бровей».

Фантастический диалог, возникший и на этот раз между проницательным взглядом аббата и красноречивыми бровями его преосвященства, привел к тому, что аббат резко обернулся к Микеле и сделал ему знак приблизиться. Микеле очень хотелось бы послушаться и тем самым заставить аббата самого подойти к нему, но внезапно в нем заговорил истинный сицилиец, и он решил вести себя осторожно. Он вспомнил все, что говорил ему отец о некоем кардинале, гнева которого ему следует опасаться, и хотя не видел, разбит ли параличом тот, что находится сейчас перед ним, тотчас же сообразил, что это вполне может быть князь Джеронимо Пальмароза. С этой минуты он решил притворяться и с покорным видом приблизился к раззолоченным и украшенным розетками и гербом носилкам его святейшества.

– Эй, что ты делаешь здесь, у ворот? – высокомерно спросил его аббат. – Ты из здешней прислуги?

– Нет, ваша милость, – ответил Микеле с видимым смирением, хотя с удовольствием отхлестал бы эту важную особу по щекам, – я прохожий.

Аббат заглянул в глубь носилок, и ему, как видно, дали понять, что прохожих запугивать не стоит, ибо, снова обратившись к Микеле, он резко изменил тон и манеры.

– Друг мой, – благодушно произнес он, – я вижу, вы измучены; вы ремесленник?

– Да, ваша милость, – сказал Микеле, стараясь отвечать самым кратким образом.

– Вы устали, идете издалека?

– Да, ваша милость.

– Однако вы кажетесь крепким для вашего возраста. Сколько же вам лет?

– Двадцать один год.

Микеле отважился на эту ложь, ибо хотя на подбородке его едва начинала пробиваться растительность, он был высокого роста и, обладая живым и пытливым умом, успел уже утратить первоначальную свежесть юности. Отвечая подобным образом, он следовал особому наставлению, полученному при расставании от отца и которое теперь, весьма кстати, пришло ему на память: «Если ты когда-нибудь вздумаешь приехать ко мне, – сказал ему старый Пьетранджело, – хорошенько запомни, что, пока не встретишь меня, не говори ни слова правды тем любопытным, которые станут тебя расспрашивать. Не открывай ни своего имени, ни возраста, ни своего рода занятий, ни моего, ни откуда ты, ни куда идешь. Полиция придирчива, но не проницательна. Лги не стеснясь и ничего не бойся».

«Если бы отец слышал меня в эту минуту, – подумал Микеле, ответив на вопрос аббата, – он был бы доволен мной».

– Хорошо, – промолвил аббат и отодвинулся от дверцы носилок, чтобы прелат лучше мог рассмотреть бедного малого, привлечшего его внимание. Микеле встретил страшный взгляд этого живого мертвеца и на сей раз ощутил скорее недоверие и отвращение, чем почтение, увидав его узкий лоб деспота. Чувствуя инстинктивно, что ему грозит какая-то опасность, Микеле изменил обычное свое выражение лица, изобразив на нем, вместо гордого достоинства, притворное простодушие, затем преклонил колено и, опустив голову, чтобы кардинал не мог как следует рассмотреть его черт, сделал вид, что ожидает благословения.

– Их преосвященство благословляют вас мысленно, – сказал аббат, обменявшись взглядами с кардиналом, и сделал знак носильщикам продолжать путь.

Носилки проследовали в ворота и медленно углубились в аллею. «Желал бы я знать, – сказал себе Микеле, – следя за проходящим мимо кортежем, – обмануло меня предчувствие или в самом деле этот кардинал и есть враг нашего семейства?»

Он уже хотел было продолжать свой путь, как вдруг заметил, что аббат Нинфо не последовал за кардиналом, а подождав, пока мимо прошел последний мул, запер ворота и положил ключ в карман. Такое неподходящее занятие для лица, столь близкого к кардиналу, удивило Микеле, но еще больше поразили его косые внимательные взгляды, которые исподтишка бросала на него эта отталкивающая личность.

«Очевидно, что за мной уже следят в этой злосчастной стране, – подумал он, – и отцу моему не зря мерещились опасности, от которых он предостерегал меня».

Вынув ключ из замка, аббат через решетку сделал Микеле знак подойти ближе, и тот, понимая, что ему следует как можно лучше сыграть взятую на себя роль, покорно приблизился.

– Вот тебе, паренек, – сказал аббат, протягивая ему мелкую монетку, – ты, я вижу, очень устал, промочи себе горло в ближайшем кабаке.

Микеле едва сдержал себя, чтобы не вздрогнуть, однако снес обиду, протянул руку и смиренно поблагодарил; затем он осмелился сказать:

– Очень уж меня огорчает, что их преосвященство не удостоили меня своим благословением.

Столь хорошо разыгранное простодушие окончательно рассеяло подозрения аббата.

– Утешься, дитя мое, – сказал он уже самым обычным тоном. – Божественному Провидению угодно было послать нашему святому кардиналу испытание, лишив его способности двигаться. Паралич не позволяет ему благословлять верующих иначе как умом и сердцем.

– Господь да исцелит и да сохранит его! – ответил Микеле и пошел дальше, уверенный теперь, что не ошибся и только что счастливо избежал опаснейшей встречи.

Не успел он, спускаясь с холма, сделать и десяти шагов, как, обогнув скалу, столкнулся лицом к лицу с каким-то человеком, поднимавшимся в гору. Они не сразу узнали друг друга, настолько каждый из них был далек от мысли о подобной встрече. Оба одновременно вскрикнули, бросились друг к другу и крепко обнялись: Микеле был в объятиях отца.

– Ах, мой мальчик, мой милый мальчик, ты здесь! – воскликнул Пьетранджело. – Вот радость для меня! Правда, я и встревожен! Но радость сильнее тревоги и придает мне храбрости, которой минуту назад у меня еще не было. Вспоминая тебя, я всегда говорил себе: хорошо, что Микеле здесь нет, а то дела наши могли бы испортиться. Но вот ты здесь, и будь что будет, а я все-таки чувствую себя счастливейшим человеком в мире.

– Отец, – ответил ему Микеле, – не бойтесь: я стал осторожным, ступив на землю своей родины. Я только что встретился лицом к лицу с нашим врагом, он расспрашивал меня, и я наврал ему так, что любо было послушать!

Пьетранджело побледнел.

– Кто, кто расспрашивал тебя, – воскликнул он, – кардинал?

– Да, кардинал, собственной персоной, паралитик в большом позолоченном ящике. Это, конечно, и есть тот самый знаменитый князь Джеронимо, которого я так боялся в детстве; он казался мне тем более страшным, что я не знал причины этого страха. Так вот, дорогой отец, уверяю вас, что если бы он и хотел еще причинить нам зло, то не в силах этого сделать, ибо его поразили, как видно, все возможные немощи. Я потом подробно опишу вам эту встречу, но сначала скажите, здорова ли сестра, и побежим скорей обрадуем ее.

– Нет, нет, Микеле, прежде объясни мне, как случилось, что ты так близко видел кардинала. Зайдем в этот лесок, я так встревожен! Ну, рассказывай же, рассказывай! Он, значит, говорил с тобой? Значит, это правда, он может говорить?

– Успокойтесь, отец, он говорить не может!

– Ты уверен? Ведь ты только что сказал, что он тебя расспрашивал.

– Меня расспрашивали, я думаю, по его приказанию; но я внимательно за всем наблюдал, и так как тот аббат, что служит ему переводчиком, недостаточно толст, чтобы совершенно заслонить собой дверцу носилок, я прекрасно видел, что его преосвященство может изъясняться одними глазами. Более того – кардинал, очевидно, совершенно глух, ибо когда я ответил, сколько мне лет, – не знаю, для чего меня об этом спросили, – аббат, я заметил, наклонился к нему и показал два раза десять пальцев, и потом еще большой палец левой руки.

– Немой, недвижимый и к тому же еще и глухой! У меня сразу отлегло от сердца. Но сколько, ты сказал ему, тебе лет? Двадцать один год?

– Вы сами велели мне не говорить правды, едва нога моя ступит на землю Сицилии.

– Очень хорошо, дитя мое; видно, само небо сохранило и наставило тебя при этой встрече.

– Охотно верю, но верил бы еще больше, если бы вы объяснили мне, какое значение может иметь для кардинала, восемнадцать мне или двадцать один?

– Никакого, конечно, – ответил, улыбаясь, Пьетранджело, – но я рад, что ты вовремя вспомнил мои наставления и сразу проявил осторожность, на какую я считал тебя неспособным. Да, скажи-ка еще, аббат Нинфо – я уверен, что это он с тобой говорил, – он очень безобразен?

– Он ужасен... Косой, курносый.

– Да, это он самый. А о чем он еще тебя спрашивал? Как тебя зовут? Откуда ты?

– Нет, он только спросил, сколько мне лет, и мой удачный ответ, видимо, вполне его удовлетворил, потому что он повернулся ко мне спиной, обещая мне благословение его преосвященства.

– Но кардинал не благословил тебя? Он не поднял руку?

– Аббат сам сказал мне немного позже, что его преосвященство не может двинуть ни рукой, ни ногой.

– Как, он и потом с тобой разговаривал? Он что же, снова вернулся к тебе, этот пришепщик ада?

С этими словами Пьетранджело почесал у себя в затылке: то было единственное место на его голове, где рука могла еще нащупать несколько волосков, и жест этот был у него признаком величайшего умственного напряжения.

IV Тайны

Микеле со всеми подробностями рассказал отцу, чем кончилось его приключение, и Пьетранджело удивился его находчивости и одобрил ее.

– Но послушайте, отец, – воскликнул юноша, – объясните же мне, как это вы живете здесь не скрываясь и под собственным именем, и никто вас не трогает, а я, едва приехав, сразу же должен прибегать к каким-то хитростям и чего-то остерегаться.

Пьетранджело на минуту задумался, потом ответил:

– Очень просто, дитя мое! Когда-то я был объявлен заговорщиком; меня бросили в тюрьму, и, вероятно, только бегство спасло меня от виселицы. Против меня уже начато было дело. Теперь все это забыто, и хотя кардинал в то время знал меня, очевидно, по имени и в лицо, но то ли я сильно изменился, то ли он потерял память, только он снова меня увидел, слышал, должно быть, как меня называют по имени, но не узнал и ничего не вспомнил. Я, видишь ли, нарочно сделал своего рода опыт: аббат Нинфо предложил мне работу в кардинальском дворце. Я храбро пошел туда, приняв меры к тому, чтобы Мила была в безопасности на случай, если меня без суда и следствия засадят за решетку. Кардинал увидел меня и не узнал. Аббату Нинфо ничего обо мне не известно. Поэтому я могу, или, вернее, мог быть за себя спокоен и уже собирался вызвать тебя к нам, как вдруг, несколько дней тому назад, по городу прошел слух, будто здоровье кардинала заметно улучшилось, и до такой степени, что он собирается провести некоторое время в своем загородном доме, в Фикарацци; отсюда виден этот дворец – вон там, на склоне холма.

– Значит, эта вилла, что в двух шагах от нас и куда только что внесли кардинала, не его резиденция?

– Нет, это вилла его племянницы, княжны Агаты; очевидно, он решил сделать крюк и завернуть к ней как бы по дороге; только это посещение очень меня тревожит. Я знаю, что княжна его вовсе не ожидала и не приготовилась к приему дядюшки. Должно быть, ему хотелось сделать ей весьма неприятный сюрприз, ибо он не может не знать, что у нее нет причины любить его. Боюсь, не кроется ли здесь какой-либо злой умысел. Во всяком случае, такая расторопность со стороны человека, который уже целый год совершает прогулки только в кресле на колесах по галерее своего городского дворца, заставляет меня призадуматься, и, говорю тебе, теперь нам следует быть особенно начеку.

– Но, отец, я все же не понимаю, какая опасность может угрожать именно мне? Когда мы покидали Сицилию, мне было, если не ошибаюсь, всего полгода, и вряд ли я мог быть замешан в заговоре, из-за которого пострадали вы.

– Нет, конечно; но здесь следят за каждым новым лицом. Всякий человек из народа, если он молод, умен и прибыл издалека, считается здесь опасным, набравшимся новых идей. Достаточно одного твоего слова, сказанного при каком-нибудь соглядатае или вызванного подстрекателем, и тебя засадят за решетку, а когда я пойду хлопотать за тебя как за сына, нам и вовсе не поздоровится, если, на наше несчастье, кардинал выздоровеет и снова окажется у власти. Он тогда, наверное, вспомнит, что я был осужден, и применит к нам поговорку: «Каков отец, таков и сын». Понимаешь теперь?

– Да, отец, я буду осторожен. Можете на меня положиться.

– Но это еще не все. Мне надо самому убедиться, насколько болен кардинал. И я не хочу, чтобы ты появлялся в Катании, пока не узнаю, чего нам следует ожидать.

– Как же вы это узнаете?

– А вот как: мы здесь с тобой спрячемся и подождем. Долго нам ждать не придется. Если кардинал в самом деле глух и нем, беседа его с княжной не затянется и он сразу же, вместе со всей свитой, отправится дальше, в Фикарацци. Тогда, уже не боясь встретить его, мы пойдем во дворец Пальмароза, где я как раз сейчас работаю; там я спрячу тебя в каком-нибудь уголке, а сам пойду посоветоваться с княжной.

– Княжна, значит, очень расположена к вам?

– Это самая главная и самая щедрая моя заказчица. У нее я получаю много работы, и, надеюсь, с ее помощью нам удастся избежать преследований.

– Ах, отец! – воскликнул Микеле. – Так это она дала вам деньги для того, чтобы я расплатился с долгами?

– Одолжила, дитя мое, одолжила. Я хорошо знаю, что ты не примешь милостыни; но она доставляет мне столько работы, что мало-помалу я рассчитаюсь с ней.

– Скажите «скоро рассчитаюсь», отец, так как я теперь с вами. Я здесь, чтобы уплатить вам свой долг, для этого только я и приехал.

– Как, мой мальчик, ты продал картину? Получил за нее деньги?

– Увы, нет! Я еще не настолько искусен и не настолько известен, чтобы зарабатывать как художник. Но у меня есть руки и достаточно знаний для того, чтобы расписывать стены. Мы будем работать вместе, дорогой отец, и мне не придется больше краснеть оттого, что я веду жизнь художника, тогда как вы выбиваетесь из сил ради моих неуместных прихотей.

– Ты говоришь это серьезно? – воскликнул старый Пьетранджело. – Ты в самом деле хочешь сделаться ремесленником?

– Да, я твердо это решил. Я распродал картины, гравюры, книги, рассчитался за квартиру, поблагодарил своего учителя, распрощался с друзьями, с Римом, со славой... Это было не так-то легко, – прибавил Микеле, чувствуя, как глаза его наполняются слезами, – обнимите же меня, отец, скажите, что вы довольны своим сыном, и я буду гордиться тем, что сделал!

– Да, обними меня, друг мой! – воскликнул старый маляр, прижимая Микеле к груди и смешивая свои слезы с его слезами. – То, что ты сделал, честно, прекрасно, и Бог наградит тебя за это, ручаюсь тебе. Я принимаю твою жертву, но договоримся сразу – принимаю ее только на время, а мы еще постараемся насколько возможно сократить это время, будем работать изо всех сил, чтобы скорее расплатиться с долгами. Такое испытание даже полезно тебе, и талант твой за это время окрепнет, а не зачахнет. Мы с тобой, работая вдвоем и с помощью доброй княжны, которая всегда так щедро платит, скоро заработаем достаточно денег, и ты сможешь вернуться к настоящей живописи без всяких угрызений совести и ничем не стесняя меня. Итак, решено. А теперь я расскажу тебе о Миле. Эта девочка – чудо какая умница. Сам увидишь, как она выросла и похорошела. Она до того хороша, что мне, старику, иной раз просто страшно становится.

– Но я хочу остаться ремесленником! – воскликнул Микеле. – Я хочу иметь скромный, но верный заработок, чтобы выдать замуж сестру сообразно ее положению. Бедняжка как добрый ангел посылала мне свои маленькие сбережения! А я, несчастный, собирался возвратить их, но потом вынужден был все их потратить. Ах, это ужасно, это, может быть, даже нечестно – мечтать о славе художника, когда ты из бедной семьи!

– Ну, об этом мы еще поговорим, и уж я постараюсь, чтобы ты снова вернулся к своему истинному призванию. Но, слышишь, заскрипели ворота... значит, кардинал выезжает из виллы. Спрячемся и посмотрим... Вот сейчас они повернут направо. Так ты говоришь, что аббат Нинфо собственноручно открыл ворота и что у него был ключ? Это очень странно, и мне очень не нравится; значит, наша добрая княжна не хозяйка даже в собственном доме, раз у этих господ есть отмычка и они в любую минуту могут ворваться к ней. Значит, они ее в чем-то подозревают, если так тщательно следят за ней.

– Но в чем же они могут ее подозревать?

– Да хотя бы в том, что она покровительствует людям, которых они преследуют. Ты, говоришь, стал теперь осторожен; впрочем, ты и так поймешь, как важно то, что я сейчас тебе расскажу. Ты уже знаешь, что князя Пальмароза всецело были преданы неаполитанскому двору, а князь Диониджи, старший в роде, отец княжны Агаты и брат кардинала, был самым скверным сицилийцем, какого когда-либо носила земля, врагом своей родины и притеснителем своих земляков. И не из трусости, подобно многим другим, перешел он на сторону победителя, и не из жадности, как те, что продаются за деньги, – нет, он был и отважен и богат, а из одного честолюбия, из страстного желания властвовать, наконец – просто из жестокости, что была у него в крови: запугивать, мучить и унижать своего ближнего было для него высшим удовольствием. При королеве Каролине^[10] он был всемогущ, и пока Господь не смилостивился и не избавил нас от него, он успел причинить уйму зла и благородным патриотам и беднякам, любящим свою родину.

Брат его был таким же злодеем, но теперь уже и он одной ногой в гробу, и если догорающая лампа еще вспыхивает слабым пламенем, значит она скоро погаснет. И тогда жители Катании, а особенно нашего предместья, где все так или иначе зависят от князей Пальмароза, вздохнут наконец свободно. Других мужчин у них в семье нет, и все их огромные богатства – а большая часть их доселе находилась в руках кардинала – перейдет к единственной наследнице, княжне Агате. А она настолько же добра, насколько родные ее жестоки, и уж у нее намерения самые добрые. Уж у нее-то истинно сицилийская душа, неаполитанцев она ненавидит! О, она еще докажет это, когда станет полновластной хозяйкой своих богатств и своих поступков. Если бы Господь Бог послал ей еще достойного мужа и в дом к ней вошел бы добрый синьор, с теми же добрыми помыслами, что у нее, тогда и полиции пришлось бы вести себя иначе, и судьба наша переменялась бы к лучшему.

– Княжна, значит, еще молода?

– Да, молода и может выйти замуж. Но до сих пор она не хотела этого, опасаясь, мне кажется, что ей не позволят выбрать супруга по собственному усмотрению. Ну вот мы и дошли до парка, – добавил Пьетранджело, – тут нам может кто-нибудь повстречаться, а потому давай разговаривать о другом. Советую тебе, сынок, говорить здесь только на сицилийском наречии, мы ведь недаром сохраняли в Риме эту похвальную привычку. Надеюсь, ты не забыл родной язык с тех пор как мы расстались?

– Нет, конечно, – ответил Микеле и бойко заговорил по-сицилийски, желая показать отцу, что ничем не похож на чужестранца.

– Прекрасно, – заметил Пьетранджело, – выговор у тебя совсем чистый.

Они пошли в обход и приблизились к другим воротам, отстоящим довольно далеко от тех, где Микеле встретился с кардиналом Джеронимо. Ворота эти были открыты, и, судя по следам на песке, через них прошло и проехало сегодня множество людей и повозок.

– Здесь сейчас страшная суматоха, необычная для этого дома, – сказал старый маляр своему сыну, – потом я все тебе объясню, а теперь помолчим, так будет вернее. Да не очень гляди по сторонам, словно новичок, который только что прибыл. Прежде всего спрячь свой дорожный мешок, вот здесь, между скал, возле водопада, – я узнаю потом это место. И оботри башмаки о траву, чтобы не походить на путника. Да ты, я вижу, хромаешь; ты что, ушиб ногу?

– Нет, это пустяки, просто немного устал.

– Ну, я сведу тебя в такое место, где ты отдохнешь, и никто тебя не потревожит.

Пьетранджело повел сына через парк кружным путем по тенистым дорожкам, и таким образом они дошли до дворца, никого не встретив, хотя, по мере приближения к нему, все явственнее слышали шум голосов. Войдя в галерею нижнего этажа, они быстро миновали огромную залу, где было множество рабочих и лежали всякого рода материалы, заготовлен-

ные для какого-то непонятного сооружения. Люди здесь были так заняты и так шумели, что и не заметили, как мимо них проскользнули Пьетранджело с сыном. Микеле не успевал даже ничего разглядеть – все мелькало у него перед глазами. Отец велел ему следовать за собой не отставая, а сам так спешил, что молодой путешественник, изнуренный усталостью, едва поспевал за ним, поднимаясь по узким и крутым лестницам.

Путь по этому лабиринту таинственных переходов показался Микеле очень долгим. Наконец Пьетранджело вынул из кармана ключ, открыл в темном коридоре небольшую дверцу, и они очутились в длинной галерее, украшенной статуями и картинами. Но ставни на всех окнах были закрыты, и кругом царил такой мрак, что Микеле ничего не удалось различить.

– Здесь ты можешь отдохнуть, – сказал Пьетранджело, тщательно заперев дверцу и снова положив ключ в карман. – Оставляю тебя одного. Постараюсь вернуться как можно скорее и тогда скажу тебе, что нам делать дальше.

Он прошел до конца галереи и, приподняв украшенную гербами портьеру, дернул шнурок звонка. Через несколько мгновений по ту сторону двери послышался голос и последовал разговор, но такой тихий, что Микеле ничего не мог разобрать. Наконец таинственная дверь приоткрылась, и Пьетранджело исчез, оставив Микеле одного во мраке, прохладе и тишине огромного сводчатого помещения.

Время от времени до него доносились звонкие голоса мастеров, работавших в нижнем этаже, скрежет пилы, удары молотка, песни, хохот и брань. Но по мере того как угасал день, звуки эти затихали, и часа через два в таинственном помещении, где был заперт умиравший от голода и усталости Микеланджело, воцарилась полная тишина.

Эти два часа ожидания показались бы ему бесконечными, если бы на помощь ему не явился сон. Хотя глаза юноши и привыкли к темноте галереи, он не сделал ни малейшего усилия, чтобы рассмотреть находившиеся в ней предметы искусства. Он повалился на ковер и погрузился в дремоту, временами прерываемую долетавшим снизу шумом и тем тревожным чувством, какое испытываешь, засыпая в незнакомом месте. Только когда к концу дня прекратились работы, он заснул наконец глубоким сном.

Вдруг странный крик пробудил его – казалось, он доносился из круглого окошка под потолком, одного из тех, через которые в галерею проходил воздух. Микеле невольно поднял голову, и ему почудилось, будто по потолку пробежал слабый луч света и фигуры, написанные на сводах, на мгновение словно бы ожили. Второй крик, слабее первого, но до того странный, что Микеле весь задрожал, еще раз донесся сверху. Потом свет погас, вокруг вновь воцарились мрак и тишина, и Микеле невольно спрашивал себя, не было ли все это сном.

Прошло еще четверть часа. Микеле, взволнованный тем, что видел и слышал, не мог больше заснуть. Он боялся, что отцу его угрожает какая-то непонятная опасность, и ужас охватывал его при мысли, что сам он заперт и ничем не может помочь ему. Он осмотрел все выходы из галереи – все они были закрыты. Вместе с тем он не смел поднять шум, ибо только что слышанный им голос был голосом женщины, и непонятно было, какое отношение этот крик или стон мог иметь к нему или к его отцу.

Наконец таинственная дверь приоткрылась, и Пьетранджело появился снова, со свечой в руке; дрожавший ее свет, скользя по статуям, мимо которых он проходил, придавал им какой-то фантастический вид.

– Мы спасены, – сказал он шепотом, подойдя вплотную к Микеле, – кардинал совсем впал в детство, а что до аббата Нинфо, то он ничего о нас не знает. Княжна – у нее, видишь ли, были гости, и мне пришлось долго дожидаться, – княжна полагает, что нам нечего скрывать твое возвращение; хуже будет, если мы сделаем из него тайну. Мы, значит, пойдем теперь прямо домой – сестра твоя, верно, уже тревожится, что меня так долго нет. Но нам предстоит

еще сделать порядочный конец, а ты, я полагаю, умираешь от голода и жажды. Здешний дворецкий – а он очень ко мне благоволит – велел нам зайти в маленькую буфетную, где мы найдем, чем подкрепиться.

Микеле последовал за отцом в небольшую комнатку с застекленной дверью, завешенной снаружи портьерой. Комната эта, ничем особо не примечательная, была ярко освещена свечами – обстоятельство, слегка удивившее Микеле. Пьетранджело, заметив это, объяснил ему, что сюда каждый вечер приходит старшая камеристка княжны присматривать за приготовлением ужина для своей госпожи. Затем он без всякого стеснения принялся открывать буфеты и доставать оттуда сласти, холодное мясо, вино, фрукты и множество всяких лакомств; он ставил их как попало на стол, смеясь каждый раз, когда ему удавалось обнаружить еще что-нибудь в глубине неистощимых шкафов. Все это крайне изумило Микеле – он не узнавал своего отца, всегда такого скромного и гордого.

V Casino

– Ну что же ты, – сказал Пьетранджело, – не хочешь мне даже помочь? Отец прислуживает тебе, а ты сидишь себе сложа руки. Так уж по крайней мере хоть ешь и пей сам.

– Простите, дорогой отец, но мне кажется, вы распорядаетесь здесь слишком свободно. Меня это поражает. Вы словно у себя дома.

– А мне здесь лучше, чем дома, – ответил Пьетранджело, принимаясь за куриное крылышко и протягивая другое сыну. – Не воображай, что я часто стану угощать тебя таким ужином. Ну а теперь ешь, не стесняйся; я уже сказал тебе, что сам мажордом разрешил нам здесь подкрепиться.

– Мажордом – только старший из слуг; он заодно с ними расточает хозяйское добро, угощая своих приятелей. Простите меня, отец, все это мне претит, и я перестану чувствовать голод при мысли, что мы ворует этот ужин у княжны, ибо эти японские тарелки, эти изысканные кушанья предназначались не для нас и даже не для господина мажордома.

– Ну, если уж хочешь знать правду, княжна сама велела нам съесть ее ужин, у нее сегодня вечером что-то нет аппетита. К тому же она думала, что тебе будет не очень приятно ужинать в обществе ее слуг.

– Вот на редкость добрая княжна, и какое тонкое внимание проявляет она ко мне! Мне и в самом деле не хотелось бы сидеть за столом рядом с ее лакеями. Однако, отец, если это делаете вы, если таковы обычаи дома, я не буду разборчивее вас и скоро привыкну к тому, чего требует мое новое положение. Но почему княжна решила на сегодняшний вечер избавить меня от подобной маленькой неприятности?

– Да просто потому, что я все рассказал ей о тебе. Она, видишь ли, проявляет ко мне особый интерес, а потому много расспрашивала о тебе, а когда узнала, что ты художник, то заявила, что будет обращаться с тобой как с художником, и поручит тебе в своем доме роспись стен, и что ты будешь окружен здесь вниманием, какого только можно пожелать.

– Вот поистине великодушная и щедрая дама, – сказал со вздохом Микеле, – но я не хочу злоупотреблять ее добротой. Я сгорю со стыда, если ко мне, художнику, будут относиться иначе, чем к моему отцу, ремесленнику. Нет, нет, я тоже ремесленник, не больше и не меньше. Пусть же со мной обращаются как с подобными мне, и если сегодня я ужинаю здесь, то завтра хочу обедать там, где обедает мой отец.

– Правильно, Микеле, это у тебя благородные чувства! За твое здоровье! А сиракузское вино придало мне храбрости, и кардинал кажется мне теперь не более страшным, чем какая-нибудь мумия. Но куда это ты смотришь?

– Мне кажется, портьера за стеклянной дверью все время колышется. Верно, какой-нибудь любопытный лакей с досадой глядит, как мы вместо него уничтожаем такой вкусный ужин. Ах, как неприятно будет каждую минуту сталкиваться с этими людьми! С ними, конечно, придется жить в ладу, иначе они способны очернить нас в глазах своих господ и лишит честного, но не удобного им работника хорошего заработка.

– Вообще говоря, ты прав, но здесь нам нечего этого опасаться. Княжна во всем мне доверяет, я всегда имею дело с ней самой, а не получаю приказания через мажордома. К тому же все ее слуги – люди честные. Ну, ешь спокойно и не смотри все время на портьера, которую шевелит ветер.

– Уверю вас, отец, что это вовсе не ветер, разве что у зефира прелестная белая ручка с бриллиантовым кольцом на пальце.

– Ну тогда это, значит, старшая камеристка княжны. Верно, она слышала, как я говорил ее госпоже, что ты красивый парень, и ей захотелось взглянуть на тебя. Пересядь вот сюда, пусть себе посмотрится вволю.

– Отец, я хочу скорей повидать Милу, а не красоваться здесь перед синьорой старшей камеристкой. Вот я уже и сыт, пойдемте.

– А я не уйду, пока еще раз не подкреплю свои силы глотком этого доброго винца. Это придаст мне храбрости. Выпей со мной, Микеле. Я так счастлив, что ты здесь! Эх, и напился бы я допьяна, будь у нас только время!

– Я тоже счастлив, отец, но стану еще счастливее, когда мы будем дома, подле сестры. Я не чувствую себя так свободно, как вы, в этом таинственном дворце. Мне все кажется, будто за мной подглядывают или кто-то меня здесь боится. Здешние тишина и безлюдье кажутся мне какими-то неестественными. Никто тут не ходит, никого не видно. Вошли мы сюда тайком, и за нами подглядывают. Будь я в другом месте, я разбил бы это стекло, чтобы посмотреть, кто там прячется за портьерой... А только что в галерее я был страшно напуган: меня разбудил чей-то крик, но такой, какого я никогда в жизни не слышал.

– Крик, в самом деле? А как же я, будучи тут же, в этой же части дворца, ничего не слышал? Тебе, верно, приснилось.

– Нет, нет, я слышал его два раза. Крик, правда, был слабый, но такой тревожный, такой странный... Как вспомню его, сердце начинает у меня колотиться.

– Ну, это уже романтические фантазии! Узнаю тебя, Микеле, и очень рад этому, а то я начал уже бояться, не слишком ли ты стал благоразумным. Однако как мне ни грустно, но придется тебя разочаровать: должно быть, старшая камеристка ее милости, проходя по коридору, что тянется над картинной галереей, увидела мышь или паука; она всякий раз при виде этих тварей отчаянно кричит. Я даже позволяю себе иной раз посмеиваться над этой ее слабостью.

Столь прозаическое объяснение несколько разочаровало молодого художника. Он поспешил увести отца, который рад был бы еще помедлить над стаканом доброго сиракузского, и спустя полчаса Микеле обнимал уже свою сестру.

На следующий же день Микеланджело Лаворатори начал помогать отцу во дворце Пальмароза, намереваясь усердно работать там до конца недели. Надо было расписать временно пристроенную к фасаду и выходящую в сад огромную бальную залу, сооруженную из досок и холста. Княжна, обычно ведущая весьма замкнутый образ жизни, давала великолепный бал, на котором должны были присутствовать все богатые и знатные обитатели Катании и окрестных замков.

Дело в том, что здешнее высшее общество ежегодно устраивало по подписке бал в пользу бедных, и каждый, у кого в городе или за городом было достаточно большое помещение, по очереди предоставлял его для этой цели и даже, если ему позволяли средства, брал на себя часть расходов по устройству праздника.

Хотя княжна много занималась благотворительностью, но так велика была ее склонность к уединению, что до сих пор она еще ни разу не предлагала своей виллы. Наконец пришла ее очередь, и она подчинилась необходимости, проявив истинно княжескую широту, ибо взяла на себя все расходы по устройству праздника, то есть убранство залы, ужин, музыку и все прочее. Благодаря ее щедрости на долю бедных должна была остаться весьма крупная сумма, а так как дворец Пальмароза был самым красивым в том краю и прием предполагался великолепный, праздник обещал быть самым блистательным из всех, какие здесь когда-либо видели.

Итак, вилла была полна рабочих; вот уже две недели трудились они над убранством бальной залы под руководством мажордома Барбагалло, человека с большим опытом в

подобных делах, и под непосредственным наблюдением Пьетранджело Лаворатори, вкус и мастерство которого были признаны всеми и высоко ценились в округе.

В первый день Микеле, верный своему слову и покорный своей участи, малевал гирлянды и арабески вместе с отцом и приставленными к нему подручными. Но этим испытание его и ограничилось, ибо на следующий же день Пьетранджело объявил, что княжна поручает Микеле украсить аллегорическими фигурами холсты, обтягивающие стены и потолок залы. Выбор сюжетов и размеров предоставлялся ему самому, он получал все необходимые материалы, его просили только поторопиться и верить в собственные силы. Работа эта не требовала тщательности и законченности, какие необходимы при создании настоящей, долговечной картины, но давала полную свободу воображению, и когда Микеле увидел перед собой огромные полотнища, на которых волен был щедрой рукой набросать все, что подскажет ему фантазия, его охватил бурный восторг, и более чем когда-либо он почувствовал упоительную радость при мысли о своем призвании художника.

Окончательно одушевило его переданное отцом от имени княжны обещание: если росписи его будут хотя бы приемлемы, эту работу зачтут ему в счет суммы, которую ради него же взял в долг Пьетранджело; если же они заслужат похвалу знатоков, он получит за них вдвое больше.

Таким образом, ему надо было только проявить свой талант, и он вновь обретал свободу и становился богатым, быть может, на целый год.

Одно лишь, но очень серьезное обстоятельство страшило его и омрачало его радость: день праздника был назначен, и не во власти княжны было отсрочить его. Оставалась неделя, всего одна неделя! Для опытного живописца это было бы достаточно, но для Микеле, который еще не пробовал своих сил в подобной работе и для которого к тому же это было делом самолюбия, срок этот казался столь малым, что при одной мысли о нем холодный пот выступал у него на лбу.

К счастью для него, в детстве ему не раз приходилось работать вместе с отцом, да и потом он тысячу раз видел его за работой, так что все приемы малярного дела и правила расположения орнаментов были ему хорошо знакомы. Но когда дело дошло до выбора сюжетов для росписей, на него нахлынуло столько фантастических образов, а богатое его воображение так разыгралось, что он пережил настоящую пытку. Две ночи подряд он делал наброски, а дни проводил на лесах, пригоняя свои композиции к месту. Он не спал, не ел и даже не думал о том, чтобы поближе сойтись со своей юной сестрой, пока не решил всего окончательно. Наконец он остановился на определенном сюжете и отправился в глубину парка, где на паперти старой, полуразрушенной часовни был растянут холст длиной в сто пядей, долженствующий изображать небо. Здесь, ступая босыми ногами по своему мифологическому небосводу, Микеле воззвал к музам, моля их даровать его робкой руке нужную твердость и мастерство. Затем, вооружившись гигантской кистью, которую вполне можно было назвать метлой, он начертил контуры своего Олимпа и, полный надежд, с помощью добрых подручных, подававших ему уже готовые краски, принялся за работу с таким усердием, что за два дня до бала холсты уже можно было вешать на место.

Пришлось еще распорядиться и этой работой и поправлять некоторые, неизбежные в таких случаях повреждения. Надо было также помочь отцу, который из-за него же несколько запаздывал и теперь спешил закрепить последние бордюры, панели и карнизы.

Неделя промелькнула для Микеле, как сон, и те несколько мгновений отдыха, которые он мог себе позволить, показались ему восхитительными. Дворец был великолепен как внутри, так и снаружи. Сады и парк казались настоящим земным раем. Природа этой страны так богата, цветы так прекрасны и благовонны, растительность так роскошна, воды так чисты и стремительны, что искусству не нужно больших усилий для того, чтобы окружать дворцы волшебными панорамами. Правда, то здесь, то там рядом с этим Элизиумом

виднелись обломки лавы и лужайки, покрытые пеплом, – печальные картины разрушения. Но эти ужасные следы придавали еще больше прелести оазисам, которые пощадил подземный огонь.

Вилла Пальмароза, построенная на склоне холма и защищенная его крутым гребнем от опустошений, причиняемых Этной, уже несколько столетий стояла, не тронутая постоянно бушевавшей вокруг нее стихией. Старинный дворец очень изящной архитектуры был выдержан в мавританском стиле. Бальный зал, пристроенный теперь к нижней части фасада, составлял резкий контраст с темным цветом и строгими орнаментами верхних этажей. Внутри этот контраст был еще разительнее. Внизу все было шум и суeta, наверху, в покоях княжны, царили тишина и порядок. Все было там загадочно. Микеле проникал в эту запovedную часть в часы обеда и ужина, ибо, в виде особой и необъяснимой милости, ему предоставлялась для еды и отдыха та самая небольшая буфетная с застекленной дверью, где он ужинал с отцом в первый день своего приезда. Здесь они всегда бывали одни, и если портьера и шевелилась порой, то так незаметно, что Микеле не мог бы сказать с уверенностью, в самом ли деле внушил он романтическую страсть синьоре старшей камеристке.

Поскольку дворец непосредственно примыкал к скале, из покоев княжны можно было выйти прямо на террасы, украшенные цветниками и фонтанами. Можно было даже по узкой, смело высеченной в лаве лестнице сойти в парк и близлежащие окрестности. Однажды Микеле проник в эти вавилонские сады, повисшие над страшной бездной. Здесь он увидел окна будуара княжны, возвышавшегося на двести футов над главным входом; таким образом княжна могла выходить в свой сад, не спускаясь ни на одну ступеньку. То было столь дерзкое и вместе с тем восхитительное воплощение архитектурного замысла, что у Микеле закружилась голова в прямом и переносном смысле. Но королевы этих волшебных мест он не видел ни разу. В те часы, когда он поднимался наверх, она либо отдыхала, либо принимала близких друзей в гостиных третьего этажа. Этот сицилийский обычай жить в верхней части дома, наслаждаясь там тишиной и прохладой, встречается во многих городах Италии. Такого рода отдельные помещения, небольшие и спокойные, иногда называются *casino*; вместе со своим садом такое *casino* образует как бы возведенную над главным корпусом особую надстройку. Та, которую мы описываем, отступала от фасада и боковых стен дворца на ширину целой террасы и была, таким образом, скрыта от глаз и как бы изолирована. Другой своей стороной эта одноэтажная надстройка выходила прямо на цветник, ибо первые два этажа примыкали здесь непосредственно к скале. Глядя отсюда, казалось, будто поток лавы, достигнув дворца, целиком поглотил его и застыл у подножия *casino*. Но вся постройка задумана была таким образом для того, чтобы избежать опасности в случае нового извержения. Со стороны Этны виден был только легкий павильон, стоящий на самой вершине скалы, и нужно было обойти массы изверженных пород, чтобы обнаружить роскошный дворец; три его этажа, возвышавшиеся один над другим, казалось, карабкаются, словно пятась, вверх по горе.

В другое время Микеле, несомненно, поинтересовался бы, обладает ли дама, которую все называли красивой и доброй, достаточно поэтической душой и достойна ли она обитать в столь волшебном месте, но сейчас воображение его настолько было поглощено порученной ему увлекательной работой, что он оставался равнодушным ко всему остальному.

Когда он ненадолго выпускал из рук тяжелую кисть, его охватывала ужасная усталость и ему приходилось отгонять от себя сон, чтобы отдых его не превышал полчаса. Он так боялся, как бы его помощники за это время не охладели к делу, что тайком уходил на эти полчаса в картинную галерею, где отец запирали его и куда, как он думал, никто никогда не заглядывает. Два или три раза у него просто не хватило сил вернуться на ночь домой, в предместье Катании, хотя дом его был одним из первых по дороге в город, и, согласившись на уговоры отца, он ночевал в замке. Но даже когда он возвращался в свое скромное жилище, где Мила цвела, словно роза за стеклами теплицы, он ничего там не замечал и не видел. Он

успевал только поцеловать сестру, сказать, как он рад ее видеть, но ему некогда было даже разглядеть ее хорошенько и поговорить с ней.

Канун праздника пришелся на воскресенье. Оставалось только бросить последний взгляд на сделанные работы и навести последний глянец. Для этого в распоряжении рабочих был еще весь день понедельника. В стране столь пылкого благочестия нечего и думать о работе в воскресный день.

Микеле ничто не занимало, кроме его росписей, и отцу пришлось долго уговаривать его пойти прогуляться. Наконец он согласился. Приодевшись, он проводил Милу к вечерней службе в церковь и решил пройтись по городу. Он наскоро осмотрел храмы, площади и наиболее достопримечательные здания. Отец представил его нескольким друзьям и родным, те приняли его очень радушно, и он постарался быть с ними любезным. Но отличие этой среды от окружавшей его в Риме было так велико, что ему поневоле сделалось грустно, и он рано вернулся домой, думая только о завтрашнем дне, ибо, увлеченный работой и очарованный прекрасным местом, где работал, он забывал о своем происхождении и помнил только, что он художник.

Наконец наступил этот день, день, исполненный надежды и страха, когда творениям Микеле предстояло заслужить либо похвалу, либо насмешки избранного сицилийского общества.

VI Лестница

– Как, все еще не готово? – с отчаянием воскликнул мажордом, врываясь в толпу рабочих. – Боже мой, о чем же вы думаете? Сейчас пробьет семь часов, в восемь начнут съезжаться гости, а половина залы еще не убрана!

Так как это замечание не относилось ни к кому лично, никто ему не ответил, и рабочие продолжали торопливо делать свое дело, каждый в меру своих сил и умения.

– Дорогу, дорогу цветам! – закричал глава этой немаловажной отрасли дворцового хозяйства. – Ставьте сюда, за эти скамьи, сто кадок с камелиями.

– Как же вы собираетесь ставить сюда цветы, когда еще не постланы ковры? – спросил мажордом с глубоким вздохом.

– А куда же прикажете мне ставить мои кадки и вазы? – продолжал кричать главный садовник. – Почему ваши обойщики еще не кончили?

– Вот именно! Почему они не кончили! – повторил мажордом с чувством глубокого возмущения.

– Дорогу, дайте дорогу лестницам! – раздался новый голос. – Зала должна быть освещена к восьми часам, а мне нужно еще немало времени, чтобы зажечь все люстры. Дорогу, дорогу, прошу вас!

– Господа живописцы, убирайте свои леса, – закричали в свою очередь обойщики, – мы ничего не можем делать, пока вы здесь!

– Что за безобразие, что за шум, просто какое-то столпотворение вавилонское, – бормотал мажордом, утирая лоб, – уж я ли не старался, чтобы все было сделано вовремя и там, где полагается, сто раз наказывал это каждому, а вы сбились в кучу, ссоритесь из-за места, мешаете друг другу, а дело не продвигается. Безобразие, это просто возмутительно!

– А кто виноват? – сказал главный садовник. – Что ж, мне развешивать гирлянды по голым стенам и ставить цветы прямо на доски?

– А я, как доберусь я до люстр, – закричал главный ламповщик, – если обойщики убирают мои стремянки, чтобы стелить ковры? Вы думаете, мои рабочие – летучие мыши, или хотите, чтобы я позволил тридцати добрым парням сломать себе шею?

– А как же моим ребятам стелить ковры, – спросил, в свою очередь, главный обойщик, – если маляры все еще не убрали свои леса?

– Как, вы хотите убрать леса? Да ведь мы стоим на них! – крикнул один из маляров.

– А все это из-за вас, господа мазины, – в отчаянии возопил мажордом, – вернее, из-за вашего мастера, он один во всем виноват, – прибавил он, увидев, что юноша, к которому он обращался, при слове «мазины» сердито сверкнул глазами. – Всею виной этот старый безумец Пьетранджело, а он, ручаюсь, даже не явился сюда присмотреть за вами. Ну где он? Не иначе как в ближайшем кабачке.

Тут сверху, из-под купола, раздался чей-то звучный и свежий голос, напевавший старинную песенку, и раздраженный синьор Барбагалло, подняв глаза, увидел блестящую лысую голову главного мастера. Старик явно поддразнивал мажордома; будучи хозяином положения, он хотел собственноручно еще кое-что подправить в своей работе.

– Пьетранджело, друг мой, – сказал мажордом, – да вы просто смеетесь над нами! Это уж слишком! Вы ведете себя как старый избалованный ребенок, кончится тем, что мы поссоримся. Сейчас не время шутить и распевать застольные песни.

Пьетранджело не соблаговолил даже ответить. Он только пожал плечами и продолжал разговаривать с сыном, который, стоя еще выше, под самым куполом, старательно покрывал краской тунику плясуньи из Геркуланума, плывущей по синему полотняному небу.

– Хватит фигур, хватит оттенков и всех этих складок! – закричал взбешенный управляющий. – Ну кого черт понесет на эту верхотуру разглядывать, все ли в порядке у ваших богов, еле видных под небесным сводом? Общая картина хороша, а большего и не нужно. Ну, спускайся, старый хитрец, не то я тряхну лестницу, на которую ты взгромоздился.

– Если вы дотронетесь до лестницы моего отца, – громко произнес юный Микеле звонким голосом, – я сброшу на вас эту люстру, и она вас раздавит. Прекратите ваши шутки, синьор Барбагалло, не то вам придется раскаяться.

– Пусть себе болтает, а ты знай делай свое дело, – спокойно промолвил старый Пьетранджело. – Спор только отнимает время, не трать же его на праздные разговоры.

– Спускайтесь, отец, спускайтесь, – ответил юноша. – Боюсь, как бы в этой сумятице вас не столкнули. Я сию минуту кончу, а вы слезайте, прошу вас, если хотите, чтобы я был спокоен.

Пьетранджело стал медленно спускаться – не потому, что в шестьдесят лет утратил силу и гибкость молодости, а для того, чтобы не показалось слишком долгим время, нужное его сыну для окончания работы.

– Да ведь это глупо, это ребячество, – говорил, обращаясь к старому мажордом, – ради недолговечных холстов, которые завтра же будут скатаны и отправлены на чердак и на которых к следующему же празднеству придется рисовать что-то новое, вы стараетесь так, словно они предназначены для музея. Кто скажет вам за это спасибо, кто обратит на них хоть малейшее внимание?

– Не вы, конечно, – презрительным тоном ответил юный художник с высоты своих лесов.

– Молчи, Микеле, и делай свое дело, – сказал ему отец. – У каждого, кто за что-либо берется, есть свое самолюбие, – добавил он, взглянув на управляющего, – только некоторые довольствуются тем, что гордятся плодами чужих рук. Ну, теперь обойщики могут начинать. А ну-ка дайте и мне, ребята, молоток и гвозди! Раз я задержал вас, значит, по справедливости, должен теперь помочь вам.

– Ты, как всегда, хороший товарищ, – сказал один из обойщиков, подавая старому мастеру нужные инструменты. – Ну, Пьетранджело, пусть искусство и ремесло идут рука об руку. Надо быть дураком, чтобы ссориться с тобой.

– Да, да, – проворчал Барбагалло, который, вопреки своей обычной сдержанности и обходительности, был в этот вечер в ужасном расположении духа. – Вот так-то всегда все ухаживают за этим старым упрямым, а ему ничего не стоит ввести в грех своего ближнего.

– Вы бы лучше, вместо того чтобы ворчать, помогли вбивать гвозди или зажигать люстры, – насмешливо сказал Пьетранджело, – хотя что я, ведь вы побоитесь запачкать свои атласные штаны или порвать манжеты!

– Синьор Пьетранджело, вы позволяете себе слишком много, и клянусь, что сегодня вы работаете здесь в последний раз.

– Дай-то бог, – ответил тот с обычным спокойствием, сопровождая свои слова мощными и мерными ударами молотка, быстро всаживая в стену гвозди, – да только в следующий раз вы опять придете меня упрашивать, скажете, что без меня у вас ничего не получается, и я, как всегда, прощу вам ваши дерзости.

– Ну, – обратился мажордом к юному Микеле, который медленно спускался с лестницы, – ты кончил? Слава богу! Ступай скорее помогать обойщикам, или садовникам, или ламповщикам, берись за дело, чтобы наверстать упущенное время.

Микеле смерил мажордома надменным взглядом. Он уже совсем забыл свое намерение стать рабочим и не понимал, как этот слуга смеет приказывать ему братья за какое-то дело, помимо порученной ему росписи; он уже собирался резко ответить ему, когда услышал голос отца:

– Принеси-ка нам гвоздей, Микеле, и иди сюда, помоги товарищам: без нас им не успеть закончить работу.

– Ты прав, отец, – ответил молодой человек, – я, быть может, не очень ловко справлюсь с этим делом, но холст натягивать могу, руки у меня крепкие. Ну, за что приниматься? Приказывайте, ребята.

– В добрый час! – воскликнул молодой обойщик Маньяни, парень с пылкой и открытой душой, живший в предместье рядом с семейством Лаворатори, – будь таким же добрым товарищем, как твой отец; его у нас все любят, и тебя также станут любить. Мы слышали, ты учился живописи в Риме, а потому немного важничаешь; и вправду – ходишь по городу в платье, вовсе не подходящем для ремесленника. Малый ты красивый и многим нравишься, но вот, говорят, больно гордый.

– А разве это плохо – быть гордым? – спросил Микеле, продолжая работать вместе с Маньяни. – Разве это кому-нибудь запрещается?

– Твой чистосердечный ответ мне по душе; но кто хочет, чтобы им восхищались, должен сначала добиться того, чтобы его полюбили.

– А разве меня в этом краю ненавидят? Ведь я только что прибыл, ни с кем еще не знаком.

– Этот край – твоя родина. Здесь ты родился, здесь знают твою семью, уважают твоего отца, но ты для нас – человек новый, и потому мы к тебе присматриваемся. Ты красивый парень, хорошо одет, ловок, у тебя, насколько я могу судить, есть талант: фигуры там наверху, что ты нарисовал и раскрасил, это не просто мазня. Твой отец гордится тобой; но всего этого еще мало, чтобы тебе самому возгордиться. Ты еще мальчик, ты на несколько лет моложе меня, у тебя и бороды-то еще нет, и ты ничем не успел доказать свое мужество или доблесть... Вот когда ты кое-что испытаешь в жизни да научишься переносить, не жалуясь, все ее тяготы, тогда мы простим тебе, что ты задираешь голову и разгуливаешь по улицам вразвалку, заломив шляпу набекрень. А иначе скажем тебе, что ты много о себе воображаешь, и ежели ты не ремесленник, а художник, так тебе следует разъезжать в карете и не иметь с нами ничего общего. Но в конце концов твой отец такой же рабочий, как и мы все. Он тоже талантлив в своей области; может быть, рисовать на карнизах цветы, плоды и птиц труднее, чем вешать на окна занавеси и подбирать цвета для обивки. Но разница не так уж велика, и мы смело можем назвать себя свояками по работе. Я не считаю себя лучше столяра или каменщика, почему же ты хочешь считать себя лучше меня?

– У меня этого и в мыслях не было, боже упаси, – ответил Микеле.

– Почему же тогда ты не пришел вчера на нашу вечеринку? Твой двоюродный брат Винченцо звал тебя, я знаю, а ты отказался.

– Не суди меня за это строго, друг; может быть, у меня просто дикий, нелюдимый характер.

– Ну нет, этому я не поверю, на лице у тебя написано совсем иное. Прости, что я говорю с тобой так откровенно, но ты мне нравишься, потому я и делаю тебе все эти упрёки. Однако этот ковер мы прибили, пойдем теперь дальше.

– Становитесь по двое и по трое к каждой люстре, – закричал главный ламповщик, – а то в одиночку вы никогда не кончите!

– А я-то как раз один, – завопил Висконти, толстый фонарщик, уже несколько захмелевший, отчего зажженный фитиль у него на два пальца не доставал до свечи.

Микеле, помня урок, который только что получил от Маньяни, влез на скамейку и принялся помогать Висконти.

– Вот это славно! – воскликнул тот. – Мастер Микеле, я вижу, добрый малый, и за то его ждет награда. Княжна платит щедро, а кроме того, ей угодно, чтобы на празднике у нее было весело всем, а потому и для нас тоже будет угощение – то, что останется от господ; и доброго винца тоже не пожалеют! Я уже успел пропустить стаканчик, проходя через буфетную.

– То-то вы и обжигаете себе пальцы, – заметил с улыбкой Микеле.

– Ну, через два-три часа и твоя рука будет не такой твердой, как сейчас, – ответил Висконти, – ведь ты, паренек, тоже сядешь ужинать с нами? Твой отец споет нам свои старые песни, и мы, как всегда, вдоволь нахохочемся! Нас будет больше ста за столом, то-то повеселимся.

– Дорогу, дорогу! – закричал рослый лакей, в расшитой галуном ливрее. – Княжна идет сюда, взглянуть, все ли готово. Ну, живо, да посторонитесь, не трясите так сильно ковры, вы подымаете пыль... А вы там, наверху, ламповщики, не капайте воском! Убирайте свой инструмент, освободите проход.

– Ну вот, – сказал мажордом, – теперь, надеюсь, вы наконец замолчите, господа мастеровые! Поторапливайтесь! Раз уж вы запоздали, сделайте по крайней мере хоть вид, что спешите! Я не ответчик за выговор, что вас ожидает. Жаль мне вас, конечно, но только вы сами виноваты, и я не стану вас выгораживать. Ах, мастер Пьетранджело, на этот раз вам придется выклянчивать себе комплименты.

Слова эти достигли слуха Микеле, и вся его гордость вновь прихлынула к сердцу. Мысль, что отец его может униженно выклянчивать комплименты и подвергаться оскорблениям, была ему невыносима. Если он до сих пор еще ни разу не видел княжны, то ведь он и не пытался ее увидеть. Он не принадлежал к числу тех, кто жадно гонится за богатым и знатным, дабы насытить свои взоры пошлым и рабским восхищением. Однако на этот раз он склонился со своей лесенки, ища глазами надменную особу, которая, как сказал синьор Барбагалло, должна была единым мановением руки и единым словом унизить умелых и старательных работников. Он остался стоять, заметно возвышаясь над толпой, чтобы лучше все видеть, но готов был в любую минуту спуститься, броситься к отцу и отвечать за него, если, в порыве благодушия, беззаботный старик позволит оскорбить себя.

Громадная зала, убранство которой спешно заканчивалось, представляла собой обширную садовую террасу, до такой степени покрытую снаружи зеленью, гирляндами и флагами, что она казалась гигантской беседкой в стиле Ватто.

Внутри, на усыпанный песком грунт, был временно настлан паркет. Три больших мраморных фонтана, украшенных мифологическими фигурами, служили лучшим украшением залы и оставляли достаточно места для прогулок и танцев. Фонтаны эти, окруженные цветущими кустарниками, устремляли ввысь целые снопы кристально чистой воды, искрящиеся под ослепительным светом огромных люстр. Скамьи, расположенные наподобие античного амфитеатра между кустами цветов, оставляли много свободного пространства, предоставляя удобные сиденья тем, кто желал отдохнуть.

Временно сооруженный купол был так высок, что под ним полностью умещалась главная дворцовая лестница изумительной архитектуры, украшенная античными статуями и яшмовыми вазами самого изысканного стиля. На белые мраморные ступени только что был постлан огромный красный ковер, и когда появившийся лакей отеснил в сторону толпу рабочих, перед лестницей образовалась торжественная пустота, и невольная тишина воцарилась в ожидании величественного выхода.

Рабочие, побуждаемые любопытством, у одних наивным и почтительным, у других беспечным и насмешливым, все разом воззрились на большую, увенчанную гербами дверь,

обе створки которой распахнулись над верхней ступенью лестницы. Сердце Микеле заби-лось, но скорее от досады, чем от нетерпения.

«Кто же они такие, эти богатые и знатные мира сего, – говорил он себе, – что так гордо попирают алтари и престолы, воздвигаемые нашими презренными руками? Богиня Олимпа, и та едва ли достойна была появиться вот так, на ступенях своего храма, перед ничтожными смертными, простертыми у ее ног. О, какая дерзость, какая ложь и насмешка! Женщина, которая явится здесь перед моими глазами, быть может, существо ограниченное, с душой низкой, а между тем все эти сильные и смелые люди при ее появлении обнажают головы».

Микеле почти не расспрашивал своего отца о вкусах и характере княжны Агаты, да и на эти немногие вопросы тот, особенно в последние дни, отвечал рассеянно, как всегда, когда его, ушедшего с головой в работу, пытались отвлечь от нее чем-либо посторонним. Но Микеле был горд, и мысль, что ему придется так или иначе встретиться с существом еще более гордым, вселяла в его сердце досаду и даже чувство, близкое к ненависти.

VII

Взгляд

Когда княжна Пальмароза появилась наверху лестницы, она показалась Микеле пятнадцатилетней девочкой, так тонка была ее талия и стройна вся фигура. Но по мере того как она спускалась, ему чудилось, будто с каждой ступенькой она становилась на год старше. И когда она очутилась внизу, он понял, что ей, должно быть, не меньше тридцати. И все же она была прекрасна, красотой не блистательной и пышной, а чистой и нежной, словно букет цикламенов, который она держала в руке. Ее можно было назвать скорее изящной и обаятельной, чем красивой, ибо в ней не чувствовалось и тени кокетства и она никогда не стремилась нравиться. Многие женщины, далеко не столь красивые, умели зажигать сердца, потому что желали этого, но поведение княжны Агаты никогда не возбуждало никаких толков, и если в жизни ее и имелись какие-либо привязанности, светское общество не могло сказать о них ничего достоверного.

Она была очень добра и, казалось, только и занята благотворительностью, но и это делала она незаметно, без показного тщеславия, а потому и не прослыла в народе «матерью бедных». В большинстве случаев те, кому она помогала, оставались в неведении относительно источника выпавших на их долю благодетий. Княжна не слишком усердно посещала церковные службы и слушала проповеди, хотя и не избегала религиозных церемоний. Она обладала большим художественным вкусом и старалась окружать себя самыми прекрасными вещами и талантливыми людьми с самыми благородными чувствами; она никогда не стремилась блистать в своем кругу и не считала себя выше других из-за знатности своего происхождения, родственных связей и богатства. Казалось, она стремится вести жизнь самую обыкновенную, и, вследствие ли внутреннего равнодушия, хорошего вкуса или природной застенчивости, все ее старания были направлены на то, чтобы оставаться незамеченной. Трудно было представить себе женщину менее притязательную. Ее уважали, ее любили, но не восторженно, ее высоко ценили, не завидуя ей. Но ценили ли ее так, как она того заслуживала? Это сказать трудно. Она не слыла особенно умной, и самые старые ее друзья утверждали, считая это высшей похвалой, что на нее можно положиться и что у нее очень хороший характер.

Все это легко было понять с первого же взгляда, и юный Микеле, в то время как она с естественной грацией спускалась по лестнице, чувствовал, как вместе с опасениями рассеивается и его недоброжелательность. Нельзя было продолжать сердиться, глядя на лицо столь чистое, спокойное и нежное. Микеле, в порыве возмущения приготовившийся смело встретить негодующий взгляд ослепительной и дерзкой красавицы, невольно ощутил внутреннее облегчение, увидев обыкновенную женщину. Он уже понимал, что даже если она и собиралась выказать недовольство, у нее не останется ни энергии, ни, быть может, ума на то, чтобы кого-то оскорбить. Гнев его утих, и он смотрел на княжну со все возрастающим чувством умиротворения, словно от нее к нему шел некий освежающий ток, словно она излучала какое-то внутреннее сияние.

На ней было простое и богатое платье из тяжелой шелковой ткани молочно-белого цвета, без единого украшения. Изящная брильянтовая диадема лежала на ее темных волосах, разделенных пробором над чистым и гладким лбом. Без всякого сомнения, она могла бы надеть более роскошные драгоценности, но ее диадема была истинно художественным произведением превосходной работы, и не давила непосильной тяжестью на ее очаровательную, изящно поставленную головку. Ее полуоткрытые плечи уже утратили прелестную художность юности, но не обрели еще пышной полноты, свойственной женщинам третьей или

четвертой молодости, фигура еще сохранила стройность, и все движения отличались бессознательной и безыскусственной, естественной гибкостью.

Медленно, концом своего веера, она отстранила лакея и мажордома, стремившихся расчистить перед ней дорогу, и прошла вперед, легко и без неловкой торопливости шагая через доски и скатанные ковры, преграждавшие ей путь, и со скромной или безразличной небрежностью метя складками своего длинного белого шелкового платья пыль, принесенную башмаками рабочих. Она касалась, не обнаруживая при этом ни малейшего отвращения, а может быть, и не замечая их, покрытых потом ремесленников, не успевших вовремя посторониться. Она прошла через толпу садовников, передвигавших огромные кадки, словно не видя их и не боясь, что ее могут толкнуть или ушибить. Тем, кто кланялся ей, она отвечала поклоном без всякого оттенка превосходства или покровительства. Когда же она оказалась в самой гуще людей, среди нагромождения холстов, досок и стремянок, она спокойно остановилась, медленно обвела взглядом то, что было сделано и что еще оставалось сделать, и сказала тихим и ободряющим голосом:

– Ну как, господа, успеете вы закончить вовремя? У нас осталось каких-нибудь полчаса, не больше.

– Отвечаю вам за все, дорогая княжна, – ответил Пьетранджело, весело подходя к ней, – ведь вы видите, я сам ко всему прикладываю руки.

– Тогда я спокойна, – ответила княжна, – надеюсь, и остальные тоже постараются. Право, было бы очень жаль, если бы такая прекрасная работа осталась незаконченной. Я очень, очень довольна. Все задумано с большим вкусом и выполнено с большим старанием. Сердечно благодарю вас, господа, за ваши труды. Этот праздник принесет вам заслуженную славу.

– Надеюсь, что тут будет и доля моего сына Микеле, – продолжал старый мастер. – Разрешите, ваша милость, представить его вам. Подойди же, Микеле, дитя мое, и поцелуй руку княжны. Видишь, какая она у нас добрая.

Но Микеле не сделал даже движения, чтобы приблизиться к ней. Хотя тон, которым княжна только что «разбранила» его отца, смягчил сердце юноши и завоевал его расположение, однако он не желал выказывать ей рабской покорности. Ему хорошо было известно, что у итальянцев целовать руку дамы означает или уважение друга, или раболепное подчинение. Не смея претендовать на первое, он не желал опускаться до второго; он только снял бархатную шапочку и продолжал стоять прямо, с вызывающим видом глядя на княжну.

Тогда она пристально взглянула на него, и оттого ли, что в глазах ее сияли доброта и сердечность, столь непохожие на обычную ее небрежно-благодарную манеру, или оттого, что он стал жертвой какой-то странной галлюцинации, но этот неожиданный взгляд вдруг пронизал его до глубины души. Ему показалось, будто какое-то вкрадчивое, но могучее, всесильное пламя проникает в него из-под тонких век знатной дамы, будто несказанная нежность, исходящая от этой неведомой ему души, овладевает всем существом его; будто, наконец, невозмутимая княжна Агата говорит ему на языке более красноречивом, чем все человеческие слова: «Приди ко мне в объятия, прильни к моему сердцу».

Растерянный, ошеломленный, не помня себя, Микеле вздрогнул, побледнел, потом безотчетным и порывистым движением устремился вперед, схватил, трепеща, руку княжны, и в тот миг, когда подносил ее к губам, еще раз взглянул ей в глаза, думая, не обманулся ли он и не рассеется ли сейчас этот одновременно и мучительный и сладостный сон. Но в ее чистых, ясных глазах было столько неприкрытой, доверчивой любви, что он потерял голову – сознание его помутилось, и он упал, словно сраженный громом, к ногам синьоры.

Когда он опомнился, княжна была уже в нескольких шагах от него. Она удалялась в сопровождении Пьетранджело; достигнув конца залы и оставшись одни, они, видимо, говорили о каких-то подробностях праздника. Микеле было совестно. Возбуждение его быстро

прошло при мысли о том, какую слабость и неслыханную самонадеянность выказал он на глазах у своих сотоварищей. Между тем ласковые слова княжны всех подбодрили, и все снова с какой-то веселой яростью накинулись на работу; вокруг Микеле двигались, пели, стучали, и случившееся с ним прошло незамеченным, или, во всяком случае, никто ничего не понял. Кое-кто с улыбкой заметил, что он поклонился ниже, чем полагается, но приписал это аристократическим и галантным манерам, привезенным издалека вместе с горделивой осанкой и дорогим платьем. Другим показалось, будто он, кланяясь, споткнулся о доски, и эта неловкость заставила его растеряться.

Один только Маньяни внимательно наблюдал за ним и наполовину разгадал его чувства.

– Микеле, – сказал он ему немного спустя, когда они вновь очутились рядом за совместной работой, – на вид ты такой застенчивый, а на деле, оказывается, ужас до чего дерзкий. Спору нет, княжна нашла, что ты красивый парень, и соответствующим образом взглянула на тебя; со стороны всякой другой женщины это могло бы что-то значить, но не будь слишком самонадеянным, мой мальчик, наша добрая княжна – дама предобродетельная; никто никогда не слышал, чтобы у нее был любовник, а если бы она и вздумала им обзавестись, то, уж конечно, нашла бы не какого-то ничтожного живописца, когда столько блестящих синьоров...

– Молчите, Маньяни, – с возмущением перебил его Микеле, – ваши шутки оскорбляют меня, я не давал вам повода к насмешкам такого рода и не потерплю их.

– Ну, ну, не кипятись, – ответил молодой обойщик, – я не хотел обидеть тебя, да и было бы подлостью с такими ручищами, как у меня, затевать ссору с таким ребенком, как ты. К тому же в душе я человек добрый и, повторяю, если говорю с тобой откровенно, так это только потому, что расположен к тебе. Я чувствую, что твой ум более развит, чем мой, это мне нравится и влечет к тебе. Но я вижу также, что характер у тебя слабоватый, а воображение – бурное. Ты более умен и тонок, чем я, зато я рассудительнее и опыта у меня побольше. Не обижайся на мои слова. Приятелей среди нас у тебя еще нет, а если бы ты захотел всмотреться повнимательнее, то заметил бы, что многие тебя недолюбливают. Я здесь кое в чем мог бы тебе помочь, и если ты послушаешься моих советов, то, быть может, избежишь многих неприятностей, которых ты не предвидишь. Так как же, Микеле, принимаешь ты мою дружбу или гнушаешься ею?

– Напротив, я прошу твоей дружбы, – ответил Микеле, взволнованный и покоренный искренним тоном Маньяни, – и чтобы стать достойным ее, хочу сказать тебе кое-что в свое оправдание. Я ничего не знаю, ничему не верю, ничего не думаю о княжне. Впервые в жизни я увидел так близко знатную даму... Но чему ты улыбаешься?

– Ты заговорил о моей улыбке, потому что не знаешь, как закончить свою фразу. Я закончу ее вместо тебя. Тебе почудилось, будто эта дама – богиня, и ты, как безумец, влюбился. Ведь ты обожаешь все величественное! Я понял это с первого же дня, как увидел тебя.

– Нет, нет! – воскликнул Микеле. – Не влюбился! Я не знаю этой женщины. А что до ее величия, то я не понимаю, в чем оно заключается. С таким же успехом можно сказать, что я влюбился в ее дворец, в ее платье или брильянты, ибо пока не вижу в ней иного превосходства, кроме прекрасного вкуса, которому мы сами немало способствовали, так же, впрочем, как ее ювелир и портниха.

– Поскольку это все, что ты о ней знаешь, ты выразился неплохо, – ответил Маньяни, – но тогда объясни мне, почему ты чуть не лишился чувств, целуя ей руку?

– Нет, ты сам мне это объясни, если можешь, а я не могу. Да, я знал, что знатные дамы умеют бросать взгляды более вызывающие, чем куртизанки, и вместе с тем более бесстрастные, чем монахини. Да, я заметил это, и такое сочетание вызова и высокомерия бесило меня, когда мне случалось порой, против воли, соприкоснуться с одной из них в толпе. Вот почему

я ненавидел знатных дам. Но взгляд княжны... Нет, ни у кого не видел я подобного взгляда. Я не сумею сказать, что в нем было – сладострастная нега или наивная доброта, но никогда ни одна женщина не смотрела на меня так, и... что тут удивительного, Маньяни, я молод, впечатлителен, и голова у меня закружилась, вот и все. Я совсем не опьянел от гордости и тщеславия, клянусь тебе, ибо уверен, что она и на тебя посмотрела бы таким же взглядом, будь ты в ту минуту на моем месте.

– Ну, это вряд ли... – задумчиво произнес Маньяни. Он уронил молоток и опустился на скамью. Казалось, он решает про себя какую-то важную задачу.

– Ах, молодые люди! – сказал им Пьетранджело, проходя мимо. – Вы тут болтаете, а работа стоит; видно, одни старики умеют спешить по-настоящему.

Задетый этим упреком Микеле побежал помогать отцу, шепнув своему новому другу, что они еще продолжают эту беседу.

– Для тебя было бы полезнее, – вполголоса и с каким-то странным видом ответил ему Маньяни, – постараться как можно меньше думать о ней.

Микеле горячо любил отца, и было за что. Пьетранджело был человек добрый, мужественный и умный. Являясь тоже на свой лад художником, он в своей работе следовал добрым старым обычаям, однако не чуждался и новшеств. Напротив, он быстро перенимал то новое, что старались объяснить ему. Обладая характером легким и веселым, он обычно был жизнерадостен, а в отдельных случаях снисходителен; он никогда никого не подозревал в дурных намерениях; когда же не мог больше великодушно обманываться на чей-либо счет, то уже не шел ни на какие уступки. Человек прямой, простой и бескорыстный, он довольствовался малым, охотно всему радовался, работу любил ради самой работы, а деньги – потому, что мог ими кому-то помочь, иначе говоря – жил, не думая о завтрашнем дне и не умея ни в чем отказать своему ближнему.

Таким образом, Провидение послало Микеле с его пылкой натурой именно такого наставника, какому он только и способен был подчиниться, ибо сын представлял во многих отношениях полную противоположность отцу. Это был юноша мятущийся, обидчивый, несколько эгоистичный, склонный к честолюбию, подозрительности и подверженный приступам гнева. Но вместе с тем это была прекрасная душа, ибо Микеле искренно и страстно любил все высокое и благородное и с восторгом следовал за тем, кто умел возбудить его доверие. Надо, однако, сказать, что характер его оставлял желать лучшего, живой и пытливый ум его часто терзал самого себя, а мятежная и утонченная натура порой жестоко восставала, нарушая его душевное спокойствие.

Если бы грубая, тяжелая рука ремесленника, пекущегося лишь о заработке или зараженного республиканской нетерпимостью, захотела бы воздействовать на непостоянный характер и мятущуюся душу Микеле, она быстро подавила или сломала бы его тонкую натуру и довела бы юношу до отчаяния. Но беззаботный и веселый нрав Пьетранджело служил как бы противовесом или успокаивающим средством для восторженных порывов Микеле. Отец редко говорил с ним на языке холодного рассудка и никогда не противился его изменчивым прихотям. Но в самой беспечной бодрости некоторых людей таится такая побудительная сила, которая заставляет нас стыдиться наших слабостей; они действуют своим примером, своими простыми и благородными поступками сильнее, чем это могли бы сделать любые слова и поучения. Таким именно образом добряк Пьетранджело, на вид как бы уступая прихотям и фантазиям Микеле, оказывал на него то единственное влияние, которому юноша до сих пор способен был подчиняться.

VIII

Незванный гость

Увидев, что отец его работает за двоих, Микеле и на этот раз тоже устыдился своей забывчивости и бросился помогать ему. Оставалось укрепить в конце залы приставную лестницу, ведущую на галерею, чтобы создать для публики еще один вход.

Уже слышно было, как катятся вдаль многочисленные кареты по великолепному проспекту с пышным названием улица Этны. Проспект этот пересекает Катанию по прямой линии от берега моря до подножия горы, и жители города возвели на нем роскошные дворцы, словно для того, чтобы, как выразился один путешественник, предоставить грозному вулкану достойный его путь.

В минуты высшего напряжения, когда времени не хватает, когда часы не идут, а бегут и человеческие руки в кипучей работе стремятся достичь невозможного, очень немногие бывают достаточно сильны духом, чтобы верить в победу. В такие минуты все сводится к тому, чтобы удесятерить свои способности и совершить чудо. Большинство рабочих пали духом и предложили отказаться от укрепления приставной лестницы, замаскировав вход цветами и картинами, иначе говоря – нарушить планы распорядителей праздника, преподнеся им неприятный сюрприз. Пьетранджело сумел подбодрить тех, у кого оставалась еще добрая воля, и сам взялся за дело. Микеле, не желая отставать от других, творил чудеса, и работа, на которую, как говорили, нужно было еще два часа, оказалась законченной через десять минут.

– Микеле, – сказал тогда старик, отирая свою облысевшую до самого затылка голову, – я доволен тобой; вижу, что ты работник хороший; а это, на мой взгляд, необходимо всякому, кто хочет стать великим художником. Не каждый умеет спешить, и обычно те, что работают быстро, работают плохо. Но презирать их за это не следует. Любой труд требует хладнокровия, расчета, порядка, прозорливости, ума, наконец... Да, даже для того, чтобы нагрузить тележку булыжником, можно применить тысячу способов, и только один из них будет верным. Некоторые берут на лопату слишком много камней, другие – слишком мало, один подымает лопату слишком высоко и кидает груз через тележку, другой – слишком низко и сыплет все на колеса. Ты никогда не вглядывался в обыкновенные сельские работы и не размышлял над ними, не делал сравнений? Видал ты, как копают землю? И тут, как и во всем другом, на одного умелого работника приходится десятка два неумелых. И почему знать, может быть, тот, кто вскопает за четверых, не надрываясь и не тратя ни минуты лишней, – это человек выдающийся, и он прекрасно справился бы и с гораздо более сложным делом? Как ты полагаешь? А я так уверен в этом, и когда я видел, как девушки собирают в горах землянику, я всегда мог предсказать, какая лучше всех станет вести свое хозяйство и воспитает детей. Тебе кажется, я вздор говорю? Ну, отвечай же.

– Я думаю, что вы правы, отец, – с улыбкой ответил Микеле. – Чтобы работать быстро и хорошо, надо обладать и трезвым умом и страстной волей, надо, чтобы в крови горела лихорадка, а голова была ясной. Надо одновременно и думать и действовать. Нет, конечно, подобное свойство дано не каждому, и грустно видеть, что среди стольких тщедушных и неспособных так мало уверенных и сильных. Увы! Мне становится страшно за самого себя, ибо, несмотря на все ваши похвалы, я редко ощущаю в себе столь высокие и благотворные порывы, и если это произошло со мной сейчас, то лишь благодаря вашему примеру.

– Нет, нет, Микеле, никакой пример не поможет человеку бездарному. Он, бедняга, будет делать все, на что только способен, и это лишний повод, чтобы сильные и одаренные помогали ему. А ты разве не чувствуешь радости и не гордишься тем, что сейчас сделал?

– Вы правы, отец, вы всегда видите самые честные и благородные стороны моего характера, лучше даже, чем я сам. О Пьетранджело, ты не умеешь читать, а меня научил тысяче вещей, тебе неизвестных! И, однако, это ты проливаешь свет в мою душу, и на каждом шагу я чувствую себя слепцом, которому ты открываешь глаза!

– Славно сказано! – с простодушным восторгом воскликнул Пьетранджело. – Прямо хоть записывай! Получается совсем как у актеров, что говорят со сцены всякие красивые фразы. Как это ты сказал? Повтори-ка! Ты обратился ко мне на ты и назвал по имени, словно вспоминал старого друга, а не стоял тут же, рядом. Ах, до чего же люблю я красивые слова! «Пьетранджело, ты не умеешь читать...» – вот как ты начал... А потом назвал себя слепцом, которому я, мол, открываю глаза, это я-то, бедный невежда! Но сердцем я хорошо вижу все, что касается тебя, Микеле. Я хотел бы уметь писать стихи на чистом тосканском наречии, а могу только кропать вирши на родном сицилийском; нужно только, чтобы рифмы складывались на «и» или на «у», тогда что-то получается. Сложил бы я тогда чудную песню про любящего и скромного сына, который приписывает старику отцу все хорошее, что есть в нем самом. Да, песню! Нет в мире ничего лучше, чем хорошая песня! Я много их знаю, да не все мне нравятся, к каждой хотел бы прибавить что-то, чего ей не хватает. Кстати, придется мне петь сегодня за ужином. Хм! Хм! А я еще наглotalся здесь пыли! Ну да ничего, в буфетной для нашего брата винца нынче будет достаточно. А ты что же, не пойдешь туда с нами? Видно, не любишь чокаться с кем попало. А может, ты и прав. Говорят, будто ты загордился, но, с другой стороны, ты ведь парень непьющий и скромный, так что и поступай как знаешь. В конце концов, что ты там ни говори и что ни делай, не быть тебе простым ремесленником, как я. Сейчас ты помогаешь мне как подручный, и это похвально, но вот погоди, расплатимся мы с нашими маленькими долгами, и ты вернешься в Рим: я хочу, чтобы ты продолжал обучаться благородному искусству, которое так любишь.

– Ах, отец, каждое ваше слово терзает мне сердце! Наши маленькие долги! Да ведь это я наделал их, и не только ради своего учения, а ради пустых забав, из-за глупого, ребяческого тщеславия! Подумать только, что каждый год моего пребывания в Риме стоит всего вашего трудового заработка!

– Ну и что? Для кого же мне и зарабатывать, как не для сына?

– Но вы лишаете себя...

– Ничего я себя не лишаю. Всюду, где работаю, я нахожу дружбу и доверие и, если не считать рюмки-другой доброго винца, этого стариковского молочка, а оно, слава богу, и не редкость и не дорого в нашем благословенном краю, так мне ничего и не надо. Ну что может быть нужно в мои годы? И о будущем мне тоже не приходится думать. Сестра твоя трудолюбива, она найдет себе хорошего мужа. А моя судьба уже не изменится до самого последнего дня. Ничему новому, такому, что могло бы мне пригодиться, я уже не научусь. К чему же мне копить деньги? Чтобы ты получил их в свои зрелые годы? Но это было бы безумием, Это значило бы лишить тебя, молодого, возможности учиться и самому обеспечить свою будущность?

– А меня, отец, страшит как раз ваше будущее! Старость – это утрата сил, недуги, беспомощность, бедность! А что, если все ваши жертвы окажутся напрасными? Вдруг у меня не хватит ни мужества, ни ума, ни бодрости, ни таланта? Вдруг я не сумею добиться успеха, удачно выдать замуж сестру, обеспечить вам достаток и покой на старости лет?

– Полно, полно! Сомневаться в себе, когда ты полон самых лучших стремлений, значит искушать Провидение. Но положим, что случится даже самое худшее, – мы все равно не пропадем. Пусть из тебя выйдет самый заурядный художник. На хлеб-то ты всегда себе заработаешь, а так как ты неглуп, то научишься довольствоваться теми благами, какие будут тебе по карману, как это делаю я. А я хоть и небогат, бедным себя не считаю, поскольку мои потребности никогда не превышают моих доходов. Эта философия тебе еще непонятна,

ибо твои годы – это годы больших стремлений и больших надежд, а вот если ты потерпишь неудачу, тогда ты эту философию поймешь. Пока я такой неудачи еще не предвижу и потому не проповедую тебе умеренность. Но важнее всего – умение владеть собой. Тот, кому при игре в кольца везет, себя не помнит от радости. Он выигрывает и хвалит себя за то, что решился играть. А тот, кто напрасно ломал копыя, возвращаясь домой, говорит себе: «Мне не повезло, больше я не играю». Но и он кое-что выиграл, ибо приобрел опыт и получил хороший урок. Однако я чувствую, что вечерний ветерок уже осушил пот на моем старом лбу; пойду, подкреплюсь в буфетной, ты же, раз тебе нечего здесь больше делать, ступай домой.

– А вы, отец, когда вернетесь?

– Я, Микеле, не знаю, ни когда, ни каким способом. Все зависит от того, будет ли мне за ужином весело. Ты знаешь, в общем-то я человек воздержанный и не пью больше того, что требуется, чтобы утолить жажду, но когда меня заставляют петь, смеяться и болтать, я увлекаюсь, прихожу в веселое, возвышенное настроение, уношусь за облака. Тогда уж нечего говорить мне, что пора идти спать. Но ты не беспокойся, я не свалюсь где-нибудь в углу, вино не делает из меня скотину, напротив, прибавляет ума, и как зашумит у меня в голове, так я становлюсь особенно рассудительным. К тому же завтра на рассвете придется здесь еще поработать вместе со всеми, убрать то, что мы соорудили за неделю; глотнув вина, я буду бодрее, чем если бы провел ночь в постели.

– Вы должны презирать меня за то, что я не умею, как вы, черпать в вине эту сверхчеловеческую силу.

– Да ты никогда даже и попробовать не хотел! – воскликнул старик, но тут же прервал себя: – И хорошо делал! В твои годы это излишнее возбуждающее. Эх, когда я был молод, один мимолетный женский взгляд придавал мне больше силы, чем нынче придал бы весь княжеский погреб. Ну, доброй ночи, мой мальчик.

С этими словами Пьетранджело взошел на только что построенную им приставную деревянную лесенку – разговор происходил в саду, где старик растянулся на траве, чтобы немного передохнуть. Но Микеле остановил его и сам медлил с уходом.

– Отец, – сказал он с необычайным волнением, – а вы имеете право оставаться в зале после того, как съедутся знатные гости?

– А то как же, – ответил Пьетранджело, удивленный волнением юноши. – Нас выбрали по несколько мастеров от каждого ремесла, всего человек сто самых лучших работников, следить за тем, чтобы все было в порядке. При таком большом скоплении народа может пошатнуться рама, сорваться и загореться от огней люстры холст, может произойти тысяча несчастных случаев, и на месте должно находиться достаточное число рабочих рук, готовых в любую минуту помочь беде. Быть может, нам и нечего будет делать, и тогда мы весело проведем всю ночь за столом. Но случись что – мы тут как тут. Более того – мы имеем право ходить везде, чтобы проверять, не загорелось ли где-нибудь, нет ли где беспорядка, не чадят ли гаснущие свечи, не готова ли упасть картина, люстра, ваза или что там еще. Мы всегда можем понадобиться, вот мы и ходим дозором, всяк в свою очередь, хотя бы для того, чтобы в залу не пробрались жулики.

– И вам заплатят за эту лакейскую службу?

– Да, заплатят, если мы захотим. Тому, кто делает это от чистого сердца, княжна поднесет небольшой подарок, а для такого старого друга, как я, у нее всегда найдутся приветливые слова и милостивое внимание. Но пусть я за это ничего не получу, я считаю своим долгом преданно служить синьоре, которую я так почитаю. Сам я, правда, еще не нуждался в ее помощи, но видел, как она помогала попавшим в беду, и знаю, что она своими руками перевязала бы мои раны, если бы увидела меня раненым.

– Да, да, я все это знаю, – с мрачным видом промолвил Микеле. – Доброта, сострадание, благотворительность, подачка!

– Пора, пора, синьор Пьетранджело, – сказал проходивший мимо лакей, – надо вам переодеться. Снимайте передник, вот уж гости съезжаются. Идите в гардеробную или сначала в буфетную – это уж как вам самим угодно.

– Верно! – ответил Пьетранджело. – А то мы тут в слишком затрапезном виде, чтоб оставаться среди нарядной публики. Прощай, Микеле, пойду приоденусь, а ты иди спать.

Микеле взглянул за свое запыленное и во многих местах испачканное платье, и к нему вернулась вся его гордость. Он медленно спустился по ступенькам в большую залу и прошел мимо начавших уже съезжаться блестящих господ.

В тот момент, когда он выходил, какой-то молодой человек, как раз входивший в залу, довольно грубо толкнул его. Микеле готов был вспылить, но сдержался, увидев, что юноша не менее озабочен, чем он сам.

Это был молодой человек лет двадцати пяти, небольшого роста и прелестной наружности. Правда, было что-то странное в лице его и походке, так что Микеле невольно обратил на него внимание, сам, впрочем, не понимая, что именно заинтересовало его в незнакомце. Однако, видимо, в самом деле в нем было что-то необычайное, ибо привратник, проверявший его входной билет, несколько раз перевел глаза с кусочка картона на посетителя и обратно, как бы желая лишний раз убедиться, что все в порядке. Не успел незнакомец сделать и трех шагов, как глаза других прибывающих гостей обратились к нему, словно под влиянием какого-то внезапно охватившего всех недуга, и Микеле, все еще стоявший у дверей, услышал, как одна дама сказала своему кавалеру:

– Кто это? Я его не знаю.

– Я тоже, – ответил ее спутник, – но что вам до этого? Неужели вы думаете, что в таком многолюдном собрании, какое ожидается здесь, вы не встретите новых лиц?

– Конечно, встречу, – ответила дама, – мы увидим на этом платном балу весьма любопытное смешение лиц, и это нас немало позабавит. Для начала я и займусь нашим молодым человеком. Он как вошел, так и стал под первой же люстрой, словно не знает, куда ему двинуться дальше в этой огромной зале. Взгляните же на него, он, право, очень необычен, этот красивый мальчик.

– Вас, я вижу, этот мальчик очень занимает, – сказал кавалер; в качестве любовника или мужа он знал наизусть все уловки своей сицилийской подруги, и потому, вместо того чтобы смотреть туда, куда указывала ему дама, он обернулся назад, желая убедиться, не с умыслом ли она отвлекает его внимание направо и не передает ли одновременно налево любовной записки или не обменивается ли с кем-нибудь взглядом. Но в силу добродетели или по воле случая дама в эту минуту была искренней и смотрела только на неизвестного.

Микеле не уходил, хотя и не думал больше о человеке, толкнувшем его: он заметил в глубине залы белое платье и диадему из брильянтов, сверкавших, как бледные звезды, и хотя на балу было немало других дам в белых платьях и немало брильянтовых диадем, он сразу узнал княжну Агату и уже не мог отвести от нее глаз.

Дама и кавалер, говорившие о молодом незнакомце, удалились, и возле Микеле послышались новые речи.

– Не помню где, но я видела это лицо, – сказала одна синьора. Красивая бледная женщина, шедшая с ней под руку, воскликнула тоном, который вывел Микеле из задумчивости:

– Ах, боже мой, как похож!..

– Что с вами, моя дорогая?

– Ничего. Просто одно воспоминание... сходство... Но нет, это не то...

– А в чем дело?

– Я скажу вам потом, а сейчас взгляните вон на того приглашенного.

– На того невысокого юношу? Но я, право, не знаю его.

– Я тоже не знаю, но он до ужаса похож на одного человека, который...

Больше Микеле ничего не расслышал, так как красавица, удаляясь, понизила голос.

Кто же был этот неизвестный, который, едва войдя в залу, произвел на всех такое сильное впечатление? Микеле взглянул ему вслед и увидел, как он повернул обратно, словно желая выйти из залы. Но внезапно он остановился перед Микеле и спросил его голосом, вкрадчивым как у женщины:

– Будьте добры, скажите мне, друг мой, которая из всех прекрасных дам на этом балу княжна Агата Пальмароза?

– Не знаю, – ответил Микеле, движимый каким-то непонятным чувством недоверия и ревности.

– Разве вы с ней не знакомы? – продолжал таинственный гость.

– Нет, сударь, – сухо ответил Микеле.

Незнакомец вернулся в залу и смешался с толпой, которая быстро росла. Микеле следил за ним взглядом и в манерах его обнаружил много странного. Правда, одет он был по последней моде и даже с изысканностью, граничащей с дурным вкусом, но казалось, что костюм стеснял его, словно он никогда не носил черного фрака и узких ботинок. Вместе с тем черты его и весь облик выражали гордость и благородство, не свойственные обычно горожанину, нарядившемуся в воскресное платье.

Повернувшись, чтобы уйти, Микеле увидел, что стражник, стоявший с алебардой в руке у дверей, тоже смущен видом незнакомца.

– Не знаю, кто это, – сказал он мажордому Барбагалло, подошедшему к нему, – у меня, правда, есть знакомый крестьянин, похожий на него, но только это не он.

– Это, должно быть, прибывший вчера греческий князь, – сказал другой служитель, – или человек из его свиты.

– А не то, – продолжал стражник, – кто-нибудь из египетского посольства.

– Или, – добавил Барбагалло, – какой-нибудь левантинский купец. Как сменяют эти люди свою одежду на европейскую, так их и узнать нельзя. Он что, купил билет при входе? Ты не должен был допускать этого.

– Да нет, билет был у него в руках, и я видел, как он раскрытым подал его привратнику; тот еще сказал: «А, подпись ее светлости».

Но Микеле не слышал этого разговора, он уже подходил к Катании.

Он вошел в бедное свое жилище и сел на кровать; но спать ему не хотелось. Он откинул назад волосы – они жгли ему лоб – и на пол упал небольшой цветок. То был белый цикламен. Каким образом обломился он и запутался у него в волосах? По правде говоря, тут нечего было удивляться или смущаться: там, где Микеле только что работал, двигался, ходил взад и вперед, все было усыпано бесчисленным множеством самых разных цветов!

Но этого Микеле не помнил. Он помнил только огромный букет белых цикламенов, который держала княжна Пальмароза в тот момент, когда он с трепетом нагнулся, чтобы поцеловать ей руку. Он поднес цветок к губам: от него исходил одуряющий запах. Микеле стиснул голову обеими руками: ему казалось, что он сходит с ума.

IX Мила

Смятение нашего юного художника объяснялось двумя причинами: с одной стороны, то была странная, бессмысленная ревность к княжне Агате, внезапно охватившая его подобно приступу лихорадки, с другой – досада, что благородная дама до сих пор не высказала своего мнения о его работе. Само собой разумеется, что Микеле волновали отнюдь не корыстные соображения, не желание получить большую или меньшую награду. Пока он находился во власти вдохновения, мнение синьоры его весьма мало тревожило. Ему важно было одно – только бы работа его удалась и он сам остался бы ею доволен. Потом, убедившись, что у него что-то получается, и еще не увидев своей таинственной покровительницы, он подумал: а найдутся ли в этом краю просвещенные знатоки, способные по одной пробной работе оценить его талант живописца? В сущности, до самой последней минуты он был так занят работой, что не успел еще осознать, насколько это его беспокоит.

Только оставшись один, он вдруг почувствовал, как мучает его мысль, что в эту минуту там, во дворце, судят его творение, а он не может при этом присутствовать. Но что мешало ему быть там? Не низкое положение в обществе преграждало ему туда путь, а острое чувство ложного стыда, превозмочь которое он не находил в себе силы.

А ведь Микеле ни как человек, ни как художник не отличался робостью. Несмотря на юные годы, он уже немало думал о своей будущности и довольно ясно представлял себе удачи и превратности ожидавшей его судьбы. Теперь, ощутив свое малодушие, он сначала удивился и пытался побороть его, но чем больше он проверял себя, тем больше убеждался в своей слабости, не желая сознаться в ее причине. Но мы откроем ее читателю.

Его огорчало и страшило то, что он до сих пор не знает, как отнеслась к его работе княжна Агата. Пьетранджело сообщил ему еще утром, что накануне, в воскресенье, ее светлость приходила осматривать залу, но сам он при этом не присутствовал, а потому не знает, что она говорила. Синьор Барбагалло, находившийся из-за непомерных хлопот по устройству праздника в весьма дурном расположении духа, говорил с ним очень сухо, но о том, что княжна высказала неудовольствие или что-либо раскритиковала, не сказал ни слова. «Будь покоен, – прибавил добряк Пьетранджело со своей всегдашней уверенностью, – княжна в подобных вещах толк знает и останется довольна. Ты, без сомнения, превзошел все ее ожидания». Микеле позволил себе поддаться этой уверенности, не придавая особого значения тому, оправдается она или нет. Он подумал, что если княжна и не очень разбирается в живописи, то вокруг нее вскоре появится достаточно знатоков, чтобы подсказать ей правильное мнение. А теперь он страшился суда этих людей, потому что страшился суда княжны. Да, она обратила на него взгляд, пронизавший его до глубины души, но она ничего ему не сказала; ни одно слово похвалы или одобрения не сопровождало этого взгляда, правда, более чем благосклонного, но именно потому и загадочного. А что, если выражение ее лица обмануло его, если, устремив на него свои прекрасные, отуманенные негой глаза, она в это время думала о ком-то другом... о своем возлюбленном, быть может, ибо что бы там ни говорил Маньяни, но у нее, наверное, есть возлюбленный!

При одной мысли об этом Микеле весь похолодел. Ему представилась княжна об руку с этим счастливым смертным, ради которого она, должно быть, и отказывалась от брака. Рассеянным взглядом окидывали они росписи молодого художника, словно хотели сказать: «Какое нам до всего этого дело? Для нас нет ничего прекрасного, ничто на свете не существует, кроме нас двоих».

Вконец измученный этими безумными мыслями, Микеле, чтобы побороть свою слабость и успокоиться, принял блестящее решение.

«Лягу спать, – сказал он себе, – и забудусь сном, выплюсь хорошенько, пока там обсуждают мои работы, горячатся, может быть, спорят. Завтра утром отец придет будить меня и скажет, увенчан ли я лаврами, или освистан. Не все ли мне равно, в конце концов».

Ему в самом деле это было настолько безразлично, что вместо того, чтобы раздеваться и ложиться спать, он вдруг стал одеваться, собираясь на бал. По какой-то странной рассеянности он тщательно причесал свои прекрасные волосы, которые, быть может, показались бы слишком длинными для чопорного аристократа, но великолепно оттеняли умное и одушевленное лицо Микеле. С величайшим старанием он смыл с себя все следы работы, надел самое тонкое белье и лучшее платье, и когда взглянул на себя в маленькое зеркальце, то нашел не без основания, что он не менее элегантен, чем любой другой гость, приглашенный на княжеский бал.

Приготовившись, таким образом, лечь спать, он вышел из дома, но не сделал и десяти шагов, как заметил, что по странной рассеянности идет прямо ко дворцу Пальмароза. Негодуя на самого себя, он вернулся, скинул фрак, швырнул его на постель и, открыв окно, остановился в нерешительности, колеблясь между героическим намерением лечь спать и neodолжимым желанием пойти на бал.

Дворец сверкал перед его глазами тысячью огней, и вместе с прочими звуками этой шумной ночи до его ушей доносились звуки оркестра. Со всех сторон катились кареты. Никто не спал ни в городе, ни в его окрестностях. Было только девять часов вечера, и Микеле совсем не клонило ко сну. Он закрыл окно и решил взяться за книгу, но под руку ему попался только цветок цикламена, который прежде, в порыве досады, он бросил на стол.

Он вдохнул тонкий, волнующий аромат мускуса, исходивший из бледно-розовой сердцевины этого прелестного маленького цветка, и перед ним вдруг возникли и закружились совершенно осязаемые образы: женщины, огни, цветы, брызжущие фонтаны, голубое пламя брильянтов, и рядом с этими реальными картинами появлялись, как это бывает во сне, другие, совершенно фантастические. Прекрасные античные плясуньи, написанные им под куполом, стали медленно отделяться от холста и, приподняв выше колен свои лазоревые или пурпурные туники, проскальзывали в толпу, мимоходом бросая ему сладострастные взгляды и загадочно улыбаясь. Опыренный желанием, он устремлялся за ними, преследовал их, терял их из виду, пытался найти их снова, стараясь схватить и удержать – одну за развевающийся пояс, другую за прозрачный пеплум, но тщетно растрачивал он силы, тщетно расточал мольбы: он не мог остановить их, не мог удержать.

Вдруг какая-то женщина, вся в белом, медленно прошла мимо, и к ней одной устремилось его непостоянное сердце. Она остановилась перед ним, взглянула на него каким-то застывшим взглядом, но мало-помалу глаза ее стали оживляться, и из них заструилось обжигавшее его пламя. Застыв у ее ног, он видел, как она склоняется к нему, он уже ощущал на лбу ее дыхание, но в эту минуту неистовая вереница римских куртизанок опутала его сетью разноцветных тканей и, кружась вихрем, умчала под самый купол. И вот он уже один стоит на своих лесах, перепачканный краской, в запятнанном платье, изнемогая, задыхаясь, в ужасающем одиночестве, еле освещенный неверным сумеречным светом. В холодных и пустых залах царит молчание, и от его видения остался лишь небольшой измятый цветок, чей аромат он так страстно вдыхал, что исчерпал его до конца.

Эта фантазмагория совсем измучила Микеле, и он в испуге отшвырнул от себя цикламен. «Быть может, – подумал он, – в испарениях его таится что-то одуряющее, ядовитое». Однако уничтожить цветок он был не в силах. Он поставил его в стакан с водой, снова открыл окно и задумался.

– Откуда эти страдания, – говорил он себе, – в чем их причина, какова цель? Неужели одного женского взгляда или отдаленного вида шумного праздника достаточно, чтобы бурное мое воображение так разыгралось? Ну что ж, если оно в самом деле так неистово, дадим ему волю. Лицеизречение действительной жизни должно либо усмирить его, либо дать ему новую пищу. Я или успокоюсь, или муки мои станут иными; не все ли равно!

– Что это ты разговариваешь сам с собой, Микеле? – раздался вдруг нежный голос, в то время как дверь его комнаты приоткрылась у него за спиной. Обернувшись, он увидел свою сестренку Милу: босиком, закутанная в *пидемию* – темный плащ, обычную одежду местных крестьянок, она робко подошла к нему.

Трудно было представить себе девушку милей, изящней и ласковей Милы; Микеле всегда нежно любил ее, однако в эту минуту появление ее несколько раздосадовало его.

– Что тебе нужно здесь, крошка? – спросил он. – И почему ты не спишь?

– Как это можно спать, – воскликнула она, – когда через наше предместье без конца катят кареты и дворец княжны сверкает там, вдали, словно звезда? Нет, мне все равно не уснуть. Правда, я обещала отцу, что лягу вовремя и не побегу к дворцу, чтобы вместе с другими девушками поглядеть на бал через приоткрытые двери. Вот я и легла, и хотя даже сюда долетали звуки скрипок и сердце мое невольно билось в такт музыке, я честно старалась уснуть, но тут прибежала моя подруга Ненна и стала звать меня с собой.

– Как, бежать ночью к дворцу, окруженному толпой лакеев, нищих и бродяг, да еще вместе с этой взбалмошной Ненной? Нет, ты этого не сделаешь. Я не позволю тебе.

– Э, синьор братец, не принимайте столь строгого отеческого тона, – ответила обиженным голосом Мила. – Неужто я так безрассудна, что способна послушаться Ненну? Я прогнала ее, и теперь она далеко, а я совсем было уж заснула, как вдруг услышала, что вы ходите и разговариваете. Я решила, что отец вернулся вместе с вами, но, заглянув в щелку, увидела, что вы одни, и тогда...

– И тогда, вместо того чтобы заснуть, ты пришла сюда поболтать со мной?

– По правде говоря, мне вовсе не хочется так рано ложиться спать, и отец ведь не запрещал мне слушать и наблюдать издали все, что происходит во дворце. Ах, как, должно быть, там красиво! А из твоего окна, Микеле, видно гораздо лучше, дай же мне вволю насмотреться отсюда на эти яркие, веселые огни!

– Нет, дитя мое, нынче ночью ветер холодный, а ты едва одета. Я сейчас закрою окно и лягу, и ты тоже ложись. Спокойной ночи.

– Говоришь, что ляжешь, а сам разоделся, для чего это, скажи-ка на милость? Нет, Микеле, ты обманываешь меня, ты идешь посмотреть на праздник, ты войдешь в залу. Ручаюсь, что ты приглашен, только не хочешь сказать мне это.

– Приглашен? Нет, моя бедная сестричка, таких людей, как мы, не приглашают на подобные празднества; если мы входим туда, то как простые рабочие, а не гости.

– Не все ли равно, лишь бы оказаться там! Ты, значит, войдешь в залу? Ах, как бы я хотела быть на твоём месте!

– Что это у тебя за страсть все видеть собственными глазами?

– Может ли быть что-нибудь радостнее, чем видеть то, что красиво, Микеле? Когда ты рисуешь прекрасное лицо, я смотрю на него даже с большим наслаждением, чем ты, который создал его.

– Но если бы ты попала на бал, тебе пришлось бы спрятаться в какой-нибудь нише, иначе бы тебя увидели и заставили уйти, и ты все равно не смогла бы ни танцевать, ни показать себя.

– Пусть так, я видела бы, как танцуют другие, а это уже много.

– Ты еще настоящий ребенок, Мила! Ну, спокойной ночи!

– Значит, ты не хочешь взять меня с собой, Микеле?

– Конечно, нет, да и не могу. Тебя заставят уйти, а мне пришлось бы разбить голову тому дерзкому лакею, который посмел бы при мне оскорбить тебя.

– Как, неужели там не найдется крохотного уголка, величиной с ладонь, где мне можно было бы спрятаться? Ведь я такая маленькая! Взгляни, я могла бы поместиться в твоём шкафу. Впрочем, тебе даже незачем брать меня с собой в залу, доведи меня только до дверей: отец не станет сердиться, зная, что я пришла с тобой.

Микеле прочитал Миле целую проповедь на тему о ее ребяческом любопытстве и страстном, неодолимом желании насладиться зрелищем блестящего светского общества. Он забыл, что самого его мучило то же искушение и что он дожидаться не мог минуты, когда окажется один, чтобы скорее поддаться ему.

Только когда Микеле сказал, что идет помогать отцу следить за убранством залы, Мила согласилась остаться дома, но тяжело при этом вздохнула.

– Ну что ж, – сказала она, с трудом отрываясь от окна, – значит, нечего об этом и думать. Впрочем, я сама во всем виновата: знай я раньше, что мне так сильно захочется пойти на этот бал, я попросила бы княжну пригласить меня.

– Вот ты опять начинаешь говорить глупости, а я-то думал, что ты наконец образумилась. Ну как могла бы княжна пригласить тебя, даже если бы ей пришла в голову подобная фантазия?

– Конечно, могла бы, разве она не хозяйка в своем доме?

– Как бы не так! Что сказали бы все эти чопорные старые вдовы, все эти знатные дуры, увидев, как среди их благородных, похожих на куклы, дочерей танцует маленькая Мила в своем бархатном корсаже и полосатой юбке?

– Ну и что? Я, быть может, оказалась бы там лучше их всех, и старых и молодых.

– Это еще ничего не доказывает.

– Да, я знаю; но ведь княжна у себя во дворце полноправная хозяйка и, ручаюсь, пригласит меня на первый же бал, который ей вздумается дать.

– Ты что же, попросишь ее об этом?

– Конечно! Я знакома с ней, и она очень меня любит. Мы с ней друзья.

С этими словами Мила выпрямилась и стала такой смешной и прелестной в своей напускной важности, что Микеле, рассмеявшись, поцеловал ее.

– Мне нравится эта твоя уверенность, – сказал он. – К чему мне тебя разочаровывать? Ты и без того скоро утратишь иллюзии золотого детства. Но если ты так хорошо знаешь княжну, расскажи мне о ней подробней, расскажи, как это ты так близко познакомилась с ней? А я об этом и не знал.

– Ага, Микеле, теперь тебя разбирает любопытство, а прежде ты обо мне и не думал! Ну, раз ты так долго меня не расспрашивал, подожди теперь, пока мне придет охота отвечать тебе.

– Так, значит, у вас с княжной какие-то секреты?

– Может быть! Но тебе-то какое до этого дело?

– До княжны мне и вправду нет дела. У нее прекрасный дворец, я там работаю, она мне платит, ничто другое меня сейчас не интересует. Но все, что касается моей сестренки, не может быть для меня безразличным и не должно оставаться для меня тайной, не так ли?

– Теперь ты льстишь мне, чтобы заставить меня говорить, так вот же и не скажу тебе ничего! Я только покажу тебе одну вещь, и глаза у тебя сделаются совсем круглые от удивления! На, смотри, что ты скажешь об этой безделушке?

С этими словами Мила вынула из-за корсажа золотой медальон, усыпанный крупными бриллиантами.

– Они отличной воды, – сказала она, – и стоят уйму денег. Мне хватило бы их на целое приданое, если бы я вздумала продать их. Но только я ни за что не расстанусь с ними, это подарок моего лучшего друга.

– И этот друг – княжна Пальмароза?

– Да, Агата Пальмароза. Видишь, ее вензель вырезан на медальоне?

– В самом деле. Но что же находится внутри этой драгоценной вещицы?

– Волосы, чудесные, светло-каштановые, почти русые волосы, выющиеся от природы и тонкие-претонкие.

– Но это не волосы княжны, она брюнетка.

– Значит, ты ее наконец увидел?

– Да, недавно. Но скажи мне наконец, Мила, чьи же волосы ты носишь на сердце, да еще в столь дорогом медальоне?

– Ах ты, какой любопытный! И, как все любопытные, ничего не видишь и ни о чем не догадываешься. Неужели ты не узнаешь их, не помнишь, как они ко мне попали?

– По чести говоря, нет.

– Так приложи их к своим, и ты все поймешь, хотя голова твоя и потемнела немного за этот год.

– Ах, милая моя сестричка! Да, теперь припоминаю, что ты отрезала у меня надо лбом прядь волос в тот день, когда покинула Рим. И ты так бережно их сохранила!

– Я носила их в маленьком черном мешочке. Мой друг княжна Агата спросила меня однажды, что за реликвию ношу я на груди, и я сказала, что это волосы моего единственного, горячо любимого брата; она попросила их у меня, обещая вернуть на следующий день. А на завтра отец принес мне от нее эту драгоценность с твоими волосами внутри. Правда, их стало как будто меньше – видно, ювелир, вкладывая их в медальон, украл немного или потерял...

– Потерял – это возможно, – сказал, улыбаясь, Микеле, – но украл... Нет, мои волосы имеют ценность только для тебя, Мила.

Х Загадка

– Но как же возникла, скажи мне, твоя дружба с княжной? – продолжал немного погодя Микеле. – И какую услугу оказала ты ей, что она сделала тебе подобный подарок?

– Никакой. Просто отец с ней в хороших отношениях и однажды взял меня с собой во дворец, чтобы представить княжне. Я ей понравилась, она обласкала меня и просила стать ее другом, и я тотчас это ей обещала. Я провела с ней наедине целый день, мы гуляли по дворцу и по саду, и с тех пор я хожу туда, когда вздумается, и знаю, что меня всегда встретят с радостью.

– И часто ты там бываешь?

– С того дня была там только два раза – ведь я познакомилась с княжной совсем недавно. А последнюю неделю из-за подготовки к празднику во дворце все было вверх дном, я знала это и не хотела мешать моей милой княжне, когда у нее было столько забот. Но через два или три дня я пойду к ней опять.

– Так вот, значит, и вся твоя тайна? Почему же ты так долго не хотела открыть ее мне?

– Да потому что княжна, прощаясь со мной, сказала: «Прошу тебя, Мила, никому не рассказывай, как чудесно мы провели этот день и как мы с тобою подружились. У меня есть причины просить тебя сохранить эту тайну. Ты узнаешь их позже, а я верю, что могу положиться на твое слово, если ты мне дашь его». Понимаешь теперь, Микеле, я не могла не обещать ей этого.

– Прекрасно, но сейчас ты, значит, нарушила свое слово?

– Ничуть не нарушила. Ты ведь для меня не *чужой*. А княжна, конечно, не предполагала, что я буду скрывать что-либо от брата или отца.

– Значит, отцу все известно?

– Конечно, я сразу же все ему рассказала.

– И он не удивился подобной прихоти княжны, не встревожился?

– Чему же тут удивляться? Вот твое удивление, Микеле, кажется мне странным и даже немного обидным. Разве я не могу внушить чувство дружбы хотя бы и княжне? А почему отец должен был встревожиться? Разве дружба не доброе, не прекрасное чувство?

– А меня, дитя мое, подобная дружба если не тревожит, то, во всяком случае, удивляет. Постарайся хоть как-нибудь объяснить мне ее. Быть может, отец оказал какую-либо большую услугу княжне Агате?

– Он выполнил во дворце много прекрасных живописных работ, украсил, например, стены столовой чудесным орнаментом из листьев.

– Да, я видел, но все это щедро оплачено. Должно быть, княжна благоволит к отцу за его живой характер и бескорыстие?

– Да, должно быть. Разве не привязываются к отцу все те, кто хоть ненадолго с ним сходится?

– Да, верно. Так, значит, эта важная дама проявляет к тебе такой интерес благодаря нашему достойному отцу?

– Что ты, Микеле, ну какая она важная дама! Она просто чудная, добрая женщина.

– О чем же она целый день говорила с тобой, такой юной, почти ребенком?

– Она задала мне тысячу вопросов, обо мне, о нашем отце, о том, как мы жили в Риме, о твоих занятиях, о наших семейных делах, о наших вкусах. Она заставила меня рассказать, кажется, всю нашу жизнь, изо дня в день, с самого моего рождения. Я так много говорила, что к вечеру даже устала.

– Она, значит, ужасно любопытна, эта знатная дама; ведь, в сущности, какое ей до нас дело?

– Я об этом не думала. Да, пожалуй, ты прав, она несколько любопытна. Но так приятно отвечать на ее вопросы – она слушает с таким интересом, и притом так приветлива. Не говори мне о ней ничего дурного, иначе я рассержусь на тебя!

– Ну так кончим этот разговор, и боже меня упаси заронить в твою ангельски невинную душу семена недоверия или страха. Иди же, ложись, а меня во дворце ждет отец. Завтра мы еще потолкуем об этом твоём приключении, ибо в твоей жизни это ведь настоящее чудесное приключение – такая пылкая дружба с прелестной княжной... которая сейчас думает о тебе не более, чем о паре туфель, которые были на ней вчера... Впрочем, не принимай такого обиженного вида. Может статься, что в один прекрасный день, скучая от праздности и одиночества, княжна Пальмароза снова пошлет за тобой, чтобы еще поразвлечься твоей болтовней.

– Ты говоришь о том, чего не знаешь, Микеле. Княжна никогда не бывает праздной, а коли ты так о ней думаешь, я тебе вот что скажу: несмотря на всю ее доброту, говорят, что с людьми нашего звания она держится довольно холодно. Одни считают ее поэтому гордой, другие – застенчивой. А дело в том, что с рабочими и слугами она разговаривает, правда, приветливо и вежливо, но очень-очень мало! Все знают эту ее особенность, и иногда люди, работавшие у нее годами, так никогда и не слыхали звука ее голоса и едва видели ее в ее же собственном доме. Потому-то ее дружественное отношение к отцу и ко мне вовсе не показное, а самое настоящее; это настоящая дружба, и все твои насмешки не помешают мне верить ей. Доброй ночи, Микеле, сегодня ты не очень-то мне нравишься, раньше ты не был таким насмешником. Ты словно хочешь сказать, что я всего-навсего маленькая девочка и меня нельзя полюбить.

– Ну, что касается меня, я совсем этого не думаю, потому что хоть ты и маленькая девочка, но я обожаю тебя!

– Как вы сказали, братец? Вы меня обожают? Ах, какое красивое слово! Поцелуйте же меня.

И Мила бросилась в объятия брата. Он нежно обнял ее, и когда она опустила свою прекрасную темноволосую головку ему на плечо, поцеловал длинные косы, ниспадавшие на полуобнаженную спину молодой девушки.

Вдруг он оттолкнул ее, мучительно содрогнувшись. Все жгучие мысли, час тому назад волновавшие его мозг, предстали перед ним как угрызения совести, и ему показалось, что уста его недостаточно чисты, чтобы дать прощальный поцелуй юной сестре.

Но едва он остался один, как тотчас же выбежал из своей комнаты, не закрыв даже двери, и стремительно шагнул за порог старого дома. Неотступно преследуемый своими мечтами, он, по правде говоря, не заметил пройденного расстояния, и ему показалось, будто из своей мансарды он прямо перенесся к мраморному перестелю дворца. А между тем от крайних домов предместья Катании до виллы княжны было около лье.

Первое лицо, попавшееся ему на глаза при входе в залу, был тот самый незнакомец, с которым он прежде столкнулся при выходе. Молодой человек медленно удалялся, вытирая лоб обшитым кружевами платочком. Заинтересованный Микеле невольно подумал, уж не переодетая ли это женщина, и решительно подошел к нему.

– Ну как, сударь, – спросил он, – удалось вам увидеть княжну Агату?

Погруженный в свои думы незнакомец быстро поднял голову и посмотрел на Микеле странным взглядом, полным такой подозрительности и даже ненависти, что того обдало холодом. Нет, то не был взгляд женщины, то был взгляд мужчины, и притом мужчины сильного и пылкого. Чувство враждебности несвойственно молодым сердцам, и сердце Микеле сжалось, как от неожиданной боли. Ему показалось, будто незнакомец тайком нащупывает

рукою нож, спрятанный под атласным, затканым золотом жилетом, и Микеле остановился, с изумлением следя глазами за каждым его движением.

– Что это значит? – произнес незнакомец вкрадчивым голосом, совершенно не соответствующим выражению гнева и угрозы, сверкнувших в его глазах. – Только что вы были рабочим, а теперь одеты как дворянин?

– Дело в том, что я не то и не другое, – ответил с улыбкой Микеле. – Я художник, работающий здесь, во дворце. Вам этого достаточно? Мой вопрос, видимо, задел вас, но один вопрос стоит другого; вы ведь тоже обратились ко мне, не зная меня.

– Вы что, намерены смеяться надо мной, сударь? – сказал незнакомец. Он говорил на чистом итальянском языке, без малейшего акцента, выдававшего бы его греческое или левантинское происхождение, в котором заподозрил его Барбагалло.

– Нисколько, – ответил Микеле, – если я обратился к вам с вопросом, то без всякого злого умысла; прошу простить мне мое любопытство.

– Любопытство? Почему любопытство? – произнес неизвестный, стиснув зубы и цедя слова совершенно на сицилийский манер.

– Право, не знаю! – ответил Микеле. – Но к чему столько разговоров из-за случайно брошенного слова; я не имел намерения оскорбить вас. Если вы все еще недовольны, не ищите повода для ссоры, ибо я отступать не намерен.

– Это вы, сударь, ищите ссоры! – воскликнул незнакомец, бросая на Микеле взгляд, еще более грозный, чем прежде.

– Честное слово, сударь, вы просто сумасшедший, – сказал Микеле, пожав плечами.

– Вы правы, – ответил тот, – ибо теряю время на то, что слушаю глупца!

Едва незнакомец произнес это слово, как Микеле бросился к нему, намереваясь тут же дать ему пощечину. Но, опасаясь, как бы не ударить женщину – ибо он все еще сомневался, мужчина ли это, – он остановился и был очень обрадован, увидев, что загадочный гость пустился бежать и исчез с такой быстротой, что Микеле не успел даже заметить, в каком направлении он скрылся, и подумал, уж не померещилось ли ему все это.

«Положительно, – сказал он себе, – сегодня вечером меня преследуют призраки».

Но едва очутился он среди обычных людей, как снова обрел чувство действительности. У него спросили входной билет, и ему пришлось назвать себя.

– А, это ты, Микеле, – воскликнул привратник, – а я и не признал тебя. Ты вырядился таким молодцом, прямо настоящий гость. Проходи, парень, да присматривай хорошенько за свечами. Раскрашенные тряпки, что ты развесил над нашими головами, того и гляди вспыхнут! А тебя там, кажется, очень хвалят, говорят, фигуры твои нарисованы рукой мастера.

Микеле обидело это «ты» в устах лакея, обидело, что ему поручали должность пожарного, но в глубине души он польщен был тем, что слух об его успехе дошел уже до лакейской.

Он скользнул в толпу, надеясь незаметно пройти и укрыться где-нибудь в уголке, откуда ему удобно было бы наблюдать и слушать, но в большой зале было столько народа, что люди давили друг друга и наступали друг другу на ноги. Невольно подчиняясь движению сплошного людского потока, Микеле позволил увлечь себя, сам не зная куда, и вскоре очутился в дальнем конце огромной залы, у подножия парадной лестницы. Только тут смог он наконец остановиться, перевести дух и насытить свои глаза, свой слух, обоняние, всю свою душу волшебным зрелищем праздника.

Стоя на некотором возвышении, на украшенных цветами и осененных листвой ступенях амфитеатра, он одним взглядом мог объять и танцующих, кружившихся у фонтанов, и зрителей, теснивших и давивших друг друга, чтобы лучше видеть.

О, сколько звуков, света, движения! Достаточно, чтобы ослепить и вскружить голову более крепкую, чем у Микеле. Сколько красавиц, драгоценных уборов, белоснежных плеч

и роскошных локонов! Сколько грации, величавой или вызывающей, сколько веселья, приторного или искреннего, сколько неги, напускной и едва скрываемой.

На мгновение Микеле почувствовал себя опьяненным, но когда общая картина начала проясняться и перед глазами его стали выступать подробности, когда он спросил себя, какая же из всех этих женщин могла бы служить образцом истинной красоты, он возвел свои взоры ввысь, к фигурам, написанным им под куполом, и, о гордец, остался более доволен творениями своих рук, нежели творениями Бога.

Он мечтал о создании красоты идеальной. Он думал, что воплотил ее своей кистью. И он, видимо, обманулся, ибо невозможно создать божественно прекрасный образ, не придавая ему человеческих черт, а на земле ничто не одарено абсолютным совершенством. Микеле, еще неуверенный и неумелый художник, создавая свои персонажи, приблизился, насколько возможно, к истинной красоте. Это именно и поражало всех, кто рассматривал его картины. Это поразило и его самого, когда он начал искать в действительной жизни воплощение носившихся в его фантазии образов. В многолюдной толпе он заметил только двух или трех женщин, показавшихся ему подлинно прекрасными, да и то, пожелай он изобразить их на холсте, ему пришлось бы у одной отнять, а другой прибавить ту или иную черту, тот или иной оттенок, которых не доставало, на его взгляд, для полной чистоты или гармонии.

В эту минуту он ощущал истинное беспристрастие, беспристрастие художника, анализирующего свое искусство. Он понял, что в человеческом лице недостаточное совершенство формы искупается выражением живого бытия. «Я создал более красивые лица, – говорил он себе, – но в них нет правды. Они не думают, не дышат, они не любят. Лучше бы они были менее правильны, но более одушевлены. Завтра, скатывая эти холсты, я все их прорву и отныне изменю и переверну все понятия, которыми до сих пор руководствовался».

Он не стал больше искать среди пляшущих перед ним красавиц идеальных черт, а принялся изучать их движения, грацию, позы, выражение взгляда или улыбки, одним словом – тайну самой жизни.

Сначала он пришел в восторг, но потом, рассматривая каждую фигуру в отдельности, снова стал рассуждать беспристрастно. Должно быть, существует среди женщин и среди мужчин немало простых, непосредственных душ, но на великосветском балу вы не встретите ни одной. Там каждый принимает вид, почти всегда противоположный его внутренней природе, либо чтобы привлечь к себе взгляды, либо чтобы избежать их. Микеле казалось, что одни лицемерно скрывают свое тщеславие, другие, напротив, надменно выставляют его напоказ; эта молодая девушка, такая на вид скромница, на самом деле чрезмерно смела, а та, что хочет казаться влюбленной, холодна и пресыщена жизнью. Веселость одной казалась Микеле унылой, меланхолия другой – жеманной. Какой-то выскочка старается выглядеть дворянином, а тот знатный сеньор держится как простолюдин. Каждый в той или иной мере становится в позу. Ничтожнейшие стремятся придать себе важности, и даже сама застенчивость, обычно вызывающая сочувствие, пытается побороть себя и скрыть свою угловатость, которая, вопреки всем усилиям, все равно проявляется.

Микеле видел, как прошли мимо несколько знакомых ему молодых рабочих. Они честно выполняли свои обязанности и выделялись в толпе здоровым видом и живописностью праздничной одежды. Мажордом, очевидно, выбрал их из числа самых *представительных*, и они прекрасно знали это, ибо тоже в простоте души своей манерничали: один непрестанно поводил плечами, чтобы показать их ширину, другой подчеркивал свой высокий рост, нарочно проходя мимо самых малорослых из великих мира сего, третий приподнимал брови дугой, чтобы показать прелестным дамам свои сверкающие глаза.

Микеле изумился, увидев, как преобразились эти парни в результате такой нелепой, хоть и бессознательной, рисовки, – они сразу утратили всю свою естественную и столь располагающую к ним манеру держать себя. «Я давно знал, – подумал он, – что люди, к какой

бы среде они ни относились, всегда ищут себе похвалы, какой бы она ни была. Но почему эта потребность привлекать к себе взгляды отнимает у нас сразу и наше обаяние и наше человеческое достоинство? Потому ли, что желание это неумеренно или цель эта презренна? Неужели же для того, чтобы сиять во всем блеске, красота должна быть неосознанной? Или я один одарен столь мучительной проницательностью? Где тот восторг и наслаждение, которые я мечтал здесь найти? Вместо того чтобы поддаться общему веселью, я хладнокровно анализирую все, что поражает мой взор, тем самым лишая себя возможности наслаждаться окружающим».

Занятый всеми этими наблюдениями и сравнениями, Микеле совершенно забыл о главной цели своего прихода на бал. Наконец он вспомнил, что хотел прежде всего спокойно разглядеть одну особу, и уже собрался было подняться по главной лестнице, чтобы войти в ярко освещенный и открытый для всех дворец, когда, повернувшись, заметил в двух шагах от себя грот, который не успел еще как следует рассмотреть.

Этот грот из камней и ракушек был устроен в довольно большом углублении под ступенями главной лестницы. Микеле собственноручно украсил его раковинами, ветками коралла и причудливыми растениями; в глубине этого прохладного убежища мраморная наядка наклоняла свою урну над огромной раковиной, до краев наполняя ее прозрачной бегущей водой.

Вкус, проявляемый Микеле во всем, что ему поручалось, побудил мажордома многое в убранстве залы предоставить на усмотрение молодого художника; Микеле эта наядка показала очаровательной, а потому он с истинным наслаждением убрал ее грот самыми красивыми вазами, гирляндами самых свежих цветов и самыми роскошными коврами. Он потратил целый час, окружая огромную, отливавшую перламутром раковину, бордюром из мха, мягкого и нежного как бархат; он выбрал и с большим вкусом очень естественно расположил вокруг нее ирисы, водяные лилии и длинные, похожие на ленты травы, столь подходящие к волнообразному движению бегущей воды.

Грот был озарен бледным светом, источник которого скрывался в зелени, и так как вся публика занята была танцами, вход в него оставался свободным. Микеле быстро проскользнул внутрь, но не успел сделать и трех шагов, как заметил в глубине женскую фигуру, сидевшую, или, вернее, полулежавшую, у подножия статуи. Он поспешно спрятался за выступ скалы и хотел уже удалиться, но непреодолимая сила удержала его на месте.

XI

Грот наяды

Княжна Агата сидела на низком диване, и ее стройная аристократическая фигура вырисовывалась на темном бархатном фоне, словно бледная тень, озаренная лунным сиянием. Она видна была Микеле в профиль. Скрытый позади нее и спрятанный в зелени источник света с изумительной четкостью обрисовывал ее стан, тонкий и гибкий, словно у юной девушки. Длинное, свободное белое платье отливало при этом мягком освещении всеми оттенками опала, а брильянты диадемы сверкали попеременно то сапфировыми, то изумрудными огнями. На этот раз Микеле окончательно потерял полученное им ранее представление о ее возрасте. Теперь она казалась ему почти девочкой, и когда он вспомнил, что считал ее тридцатилетней, то не мог понять, небесное ли сияние преображало ее столь чудесным образом, или отблеск адского пламени, которым она, как волшебница, окружала себя, чтобы обмануть человеческие чувства.

Княжна выглядела усталой и озабоченной, хотя поза ее была спокойной, а лицо – ясным. Она вдыхала аромат своих цикламенов и небрежно играла веером. Микеле долго смотрел на нее, прежде чем услышал, что она с кем-то разговаривает, и понял смысл ее слов. Она казалась ему прекрасной, намного прекраснее всех красавиц, которых он только что с таким вниманием разглядывал, и он не мог понять, почему именно она внушает ему столь чистое, столь глубокое восхищение. Он тщетно пытался разобраться в подробностях ее черты и объяснить себе ее очарование – он не в силах был этого сделать. Ее словно окружали какие-то таинственные чары, запрещающие рассматривать ее как обыкновенную женщину. Порой, думая, что он уловил наконец ее черты, Микеле закрывал глаза и пытался мысленно воссоздать ее образ, нарисовать ее в своем воображении огненными штрихами на том черном фоне, который возникал перед ним, когда он опускал веки. Но он ничего не видел, кроме расплывчатых, неясных линий, и не мог представить себе никакого отчетливого образа. Тогда он снова спешил открыть глаза и созерцал ее с тревогой, с восторгом, но больше всего – с изумлением.

Ибо было в ней нечто необъяснимое. Она держалась очень просто и, единственная из всех женщин, которых Микеле только что видел, казалось, не думала о себе, не заботилась о том, чтобы произвести впечатление или играть какую-то роль. Она не знала или не хотела знать, что о ней подумают, что, глядя на нее, почувствуют. Она была так спокойна, словно душа ее отказалась от всего земного, и так естественна, как бывают в полном одиночестве.

А вместе с тем одета она была как королева, она давала бал, выставляла напоказ всю роскошь своего дворца и вела себя совершенно так же, как любая другая высокопоставленная особа и светская женщина. Откуда же тогда этот вид мадонны, эта внутренняя сосредоточенность, эта душа, воспарившая над земной суетой?

Для пытливого воображения молодого художника она являла собой живую загадку. Но его смущало нечто другое, еще более странное: ему казалось, будто в этот день он видел ее не впервые.

Где же он мог встречать ее раньше? Тщетно перебирал он свои воспоминания. Когда он прибыл в Катанию, даже имя княжны было ему незнакомо. Особа столь знатного рода, знаменитая своим богатством и красотой и славная своей добродетелью, не могла посетить Рим, оставаясь неизвестной. Микеле напрягал всю свою память, но не в силах был припомнить ни одного случая, когда он мог бы с ней встретиться; более того – глядя на нее, он чувствовал, что это была не мимолетная встреча, что он знает ее близко и давно, с тех самых пор, как живет на свете.

После долгих поисков он нашел для себя наконец довольно туманное объяснение: она, очевидно, олицетворяет тот тип истинной красоты, который он всю жизнь искал, но не мог уловить и воспроизвести. За неимением лучшего ему пришлось удовольствоваться этой поэтической банальностью.

Но княжна была не одна, она с кем-то разговаривала, и Микеле вскоре разглядел, что вместе с ней в гроте находится мужчина. Микеле следовало бы тотчас уйти, но сделать это было довольно трудно. Для того чтобы свет из бальной залы не проникал в грот и в нем царил таинственный полумрак, вход был задрапирован большой синей бархатной портьерой; наш любознательный герой по воле случая проскользнул внутрь, лишь слегка отстранив ее, так что лица, беседующие в гроте, не обратили на это внимания. Вход был вдвое уже самого грота и составлял нечто вроде преддверия, стены которого были сложены не из искусственного камня, как это сделали бы у нас, при нашем подражании *рококо*, а из обломков настоящей лавы, остекленевших и отливающих самыми различными оттенками; эти причудливые и ценные осколки были собраны в кратере вулкана и вделаны, словно драгоценности, в каменную кладку. Созданный таким образом сверкающий выступ совершенно скрывал Микеле, а вместе с тем позволял ему все видеть сквозь оставленные в скале просветы. Но чтобы выйти из грота, ему пришлось бы еще раз коснуться портьеры, и трудно было ожидать, что на этот раз княжна и ее собеседник окажутся настолько рассеянными, что он снова останется незамеченным.

Микеле сообразил это слишком поздно и уже не мог исправить своей оплошности. Выйти так же просто, как он вошел, было нельзя. Кроме того, его приковали к месту любопытство и жгучая тревога: ведь мужчина, сидевший здесь, и был, очевидно, любовником княжны Агаты.

Это был человек лет тридцати пяти, высокого роста, с серьезным и мягким выражением на редкость красивого и правильного лица. В том, как он держал себя, сидя напротив княжны на расстоянии, обличавшем нечто среднее между почтительностью и интимностью, нельзя было заметить ничего предосудительного. Но когда Микеле настолько овладел собой, что смог понимать слова, долетавшие до его ушей, его сразу же насторожила произнесенная княжной фраза, в которой ему послышался явный намек на существующую между ними взаимную привязанность:

— Слава богу, — сказала она, — что никому еще не пришло в голову приподнять эту завесу и открыть наш прелестный уголок. Хотя я могла бы щегольнуть им перед своими гостями, приведя их сюда, ибо сегодня он восхитительно убран, но мне приятнее провести этот вечер здесь в одиночестве или с вами, маркиз, а бал, шум и танцы пусть идут себе своим чередом там, за портьерой.

Маркиз ответил тоном человека, не очень-то гордящегося своими победами:

— Вам следовало бы совсем закрыть этот грот, сделать здесь дверь, ключ от которой вы хранили бы у себя. Это была бы ваша собственная гостиная, где вы могли бы время от времени отдыхать от духоты, ярких огней и любезностей. Вы не привыкли к светскому обществу и слишком понадеялись на свои силы. Завтра вы будете чувствовать себя совершенно разбитой.

— Я и сейчас уже изнемогаю, но не гости и шум тому виною, а страшное волнение.

— Я понимаю вас, дорогой друг, — сказал маркиз, по-братски пожимая руку княжны, — но постарайтесь овладеть собой хотя бы на несколько часов, чтобы никто ничего не заметил. Вы ведь не сможете избежать взглядов гостей, а кроме этого грота, во всем дворце вы не оставили ни одного уголка, где могли бы укрыться, не пройдя сначала сквозь толпу с ее раболепными приветствиями, любопытствующими взорами...

– И банальными фразами, заранее вызывающими во мне отвращение, – отвечала княжна, стараясь улыбнуться. – Как можно любить светскую жизнь, маркиз? Можете вы это понять?

– Могу. Ее любят люди, довольные собой и полагающие, что им выгодно показывать себя.

– А знаете, отзвуки бала прекрасны вот так, издали, когда его не видишь и тебя тоже никто не видит. Эти голоса, эта долетающая до нас музыка и сознание, что там веселятся или скучают, а нас это и не касается... В этом есть какая-то прелесть, что-то даже поэтическое.

– Однако сегодня все говорят, что вы решили вернуться в свет; что этот роскошный бал, дать который побудила вас любовь к добрым делам, должен вызвать у вас желание и в дальнейшем давать подобные празднества или посещать их. Словом, ходят слухи, будто вы собираетесь изменить своим привычкам и снова появиться в обществе, подобно звезде, которая слишком долго оставалась скрытой.

– Почему же говорят такие странные вещи?

– О, чтобы ответить вам, я должен был бы повторить все хвалебные речи, которых вы сами не захотели слушать; а я не имею привычки говорить вам даже правду, если она похожа на пошлость.

– В этом я отдаю вам должное, но сегодня вечером дарю вам право повторять мне все, что вы слышали.

– Ну так вот. Говорят, что вы до сих пор прекраснее всех женщин, прилагающих столько усилий, чтобы казаться прекрасными, что вы затмеваете самых блестящих и обольстительных из них своей совершенно особенной, свойственной вам одной прелестью и благородной простотой, привлекающей все сердца. Начинают удивляться, почему вы живете такой отшельницей и... должен ли я... смею ли я говорить все?

– Да, решительно все.

– Говорят также (я слышал это собственными ушами, толкаясь в толпе, когда никто и не полагал, что я нахожусь так близко): «Почему она не выходит замуж за маркиза Ла-Серра? Что за странная причуда?»

– Продолжайте, маркиз, продолжайте, не бойтесь: это считают, конечно, тем более странной причудой, что маркиз Ла-Серра – мой любовник?

– Нет, сударыня, этого не говорят, – ответил маркиз рыцарским тоном, – и не посмеют говорить до тех пор, пока у меня есть язык, чтобы отрицать это, и рука, чтобы защищать вашу честь.

– Верный, чудесный друг, – сказала княжна, протягивая ему руку, – но вы ко всему относитесь слишком серьезно. Ведь все говорят и думают, я в этом не сомневаюсь, что мы любим друг друга.

– Могут говорить и думать, что я люблю вас, так как это правда, а правда всегда обнаруживается. Поэтому все знают, что вы меня не любите...

– Благородное сердце! Нет, не сейчас... Завтра я скажу вам больше, чем когда-либо говорила. Я все вам открою. Сейчас не место и не время. Я должна вновь появиться на балу, где, наверное, уже удивляются моему отсутствию.

– Вы достаточно отдохнули, достаточно успокоились?

– Да, теперь я в состоянии вновь надеть личину равнодушия.

– Ах, с какой легкостью вы ее надеваете, страшная, жестокая женщина! – воскликнул маркиз, вставая и порывисто прижимая к своей груди руку, которую княжна подала ему, чтобы выйти из грота. – Сердце ваше так же бесстрастно, как и лицо.

– Не говорите так, маркиз, – произнесла княжна, останавливая его и обращая к нему сияющий взор, который заставил задрожать Микеле. – В столь торжественную для меня минуту жизни это с вашей стороны жестоко, но вы не в состоянии еще этого понять. Завтра,

впервые за двенадцать лет, что мы с вами разговариваем, не понимая друг друга, вы меня наконец поймете. А теперь, – прибавила она, тряхнув своей прелестной головкой, словно желая отогнать серьезные мысли, – пойдете танцевать. Но сначала скажем прости нашей наяде, столь мило освещенной, и нашему чудесному гроту, который скоро осквернит толпа бездушных гостей.

– Это, должно быть, старый Пьетранджело убрал его так красиво? – спросил маркиз, взглянув на наяду.

– Нет, – ответила княжна Агата, – *не Пьетранджело, а он!* – И, устремившись, словно в порыве отчаянной решимости, в самую гущу бала, она быстро отдернула занавес и откинула его на Микеле, так что, когда она проходила мимо, он, по счастливой случайности, оказался совершенно закрытым.

Едва рассеялся страх, вызванный неловким положением, в которое он попал, как он ринулся в грот и, убедившись, что там никого нет, бросился на диван рядом с тем местом, где только что сидела княжна Агата. То, что ему удалось услышать, чрезвычайно взволновало его, но каковы бы ни были его прежние соображения, все они были теперь уничтожены последними словами этой удивительной женщины.

Скромному и простодушному юноше слова ее показались загадкой: *Нет, это не Пьетранджело, а он!* Что за таинственный ответ! Или просто рассеянность? Но Микеле не верил, чтобы это была рассеянность. *Он* относилось явно не к Пьетранджело, а к нему лично. Значит, для княжны Микеле есть тот самый *он*, которого не надо даже называть по имени, и именно так, коротко и решительно, называла она его, говоря с человеком, который ее любил.

Значит, эта необъяснимая фраза и все предыдущие недомолвки – признание княжны, что она не любит маркиза, упоминание о какой-то *торжественной минуте* в ее жизни, *страшное волнение*, которое, по ее словам, ей пришлось испытать в тот вечер, важная тайна, которую она собиралась открыть завтра, – все это имеет отношение к нему, к Микеле?

Вспоминая упоительный взгляд, каким она одарила его, когда увидела впервые перед балом, он не мог не предаваться самым безумным фантазиям. Правда, во время разговора с маркизом ее мечтательные глаза тоже на миг зажглись удивительным блеском, но в них было совсем не то выражение, с каким она заглянула в глубину глаз Микеле. Один взгляд стоил другого, но он предпочитал тот, что предназначался ему.

Кто мог бы пересказать все те невероятные романические истории, которые за четверть часа сумел изобрести мозг самонадеянного юноши? В основе их лежало всегда одно и то же: необыкновенная гениальность молодого человека, неведомая ему самому и внезапно проявившаяся в его блестящих и величественных росписях. Прекрасная княжна, для которой они выполнялись, много раз в течение недели тайком приходила любоваться, как подвигается его искусная работа, а в те часы, когда он отдыхал и подкреплял свои силы в таинственных залах волшебного дворца, она, как невидимая фея, наблюдала за ним из-за занавески или через круглое окошечко под потолком. То ли она воспылала любовью к нему, то ли прониклась восхищением его талантом, во всяком случае – она чувствовала к нему большое влечение, и чувство это оказалось настолько сильным, что она не смела выразить его словами. Взгляд ее высказал ему все против ее собственной воли; а он, дрожащий, потрясенный, как даст он теперь ей знать, что все понял?

Вот о чем думал он, когда перед ним неожиданно появился поклонник княжны, маркиз Ла-Серра. Микеле держал в руках и рассматривал, не видя его, веер, забытый княжной на диване.

– Простите, милый юноша, – сказал маркиз, кланяясь ему с изысканной вежливостью, – я вынужден забрать у вас эту вещицу, ее спрашивает дама. Но если вас интересует китайская роспись на этом веере, то я готов предоставить в ваше распоряжение целую кол-

лекцию весьма любопытных китайских ваз и рисунков, чтобы вы могли выбрать себе все, что вам понравится.

– Вы слишком добры, господин маркиз, – ответил Микеле, задетый снисходительным тоном маркиза, в котором ему почудилось надменное покровительство, – этот веер меня вовсе не интересует, и китайская живопись не в моем вкусе.

Маркиз прекрасно заметил досаду Микеле и, улыбнувшись, продолжал:

– Это, должно быть, потому, что вам приходилось видеть только грубые изделия китайцев, но у них есть цветные рисунки, которые, несмотря на всю примитивность исполнения, достойны, благодаря четкости линий и наивной прелести жестов, выдержать сравнение с этрусскими. Мне хотелось бы показать вам те, которые у меня имеются. Я рад был бы доставить вам это маленькое удовольствие и все-таки остался бы перед вами в долгу, поскольку ваша живопись доставила мне удовольствие намного большее.

Маркиз говорил так сердечно, и на его благородном лице отражалась такая явная доброжелательность, что Микеле, затронутый за живое, не выдержал и наивно высказал ему свои чувства.

– Боюсь, – сказал он, – что ваша светлость желает подбодрить меня и потому проявляет ко мне больше снисхождения, чем я заслуживаю, ибо я не допускаю мысли, что вы способны унизиться до насмешки над молодым художником, едва начавшим свой трудный путь.

– Боже меня сохрани, мой юный мэтр! – ответил господин Ла-Серра, с неотразимой чистосердечностью протягивая Микеле руку. – Я так хорошо знаю и уважаю вашего отца, что заранее был расположен в вашу пользу, в этом я должен сознаться, но совершенно искренно могу подтвердить, что ваши произведения обнаруживают сноровку и предвещают талант. Видите, я совсем не захваливаю вас, вы делаете еще немало ошибок, как по неопытности, так и, быть может, вследствие чересчур пылкового воображения, но у вас есть вкус и оригинальность, и то и другое нельзя ни приобрести, ни утратить. Трудитесь, трудитесь, наш юный Микеланджело, и вы оправдаете прекрасное имя, которое носите.

– А другие разделяют ваше мнение, господин маркиз? – спросил Микеле, страстно желая при этом услышать имя княжны.

– Мое мнение, я думаю, разделяют все. Ваши недостатки критикуют снисходительно, ваши достоинства хвалят искренно; никто не удивляется вашим блестящим способностям, узнав, что вы уроженец Катании и сын Пьетранджело Лаворатори, прекрасного работника, энергичного и сердечного человека. Мы все здесь добрые патриоты, всегда радуемся успеху земляка и великодушно готовы во всем помогать ему. Мы так ценим всех, кто родился на нашей земле, что не хотим больше знать никаких сословных различий; дворяне ли мы, земледельцы, рабочие или художники, мы забыли наши прежние родовые пережитки и дружно стремимся к народному единению.

«Вот как, – подумал Микеле, – маркиз заговорил со мной о политике! Но я не знаю его убеждений. Быть может, если он догадался о чувствах княжны, он будет стараться погубить меня. Лучше не доверять ему».

– Смею ли я спросить у вашей светлости, – продолжал он, – удостоила ли княжна Пальмароза взглянуть на мои картины и не очень ли она недовольна ими?

– Княжна в восторге, можете не сомневаться, дорогой мэтр, – с большой сердечностью ответил маркиз, – и знай она, что вы здесь, сама сказала бы вам это. Но она слишком занята сейчас, чтобы вы могли подойти к ней с вопросом. Завтра вы, несомненно, услышите от нее похвалы, которых заслуживаете, и ничего не потеряете от такой небольшой отсрочки... Кстати, – прибавил, оборачиваясь к Микеле, маркиз, уже готовый уйти, – не хотите ли все же посмотреть мои китайские рисунки и другие картины? Они не лишены кое-каких достоинств. Я буду рад видеть вас у себя. Мой загородный дом в двух шагах отсюда.

Микеле поклонился в знак благодарности и согласия, но хотя любезность маркиза должна была бы польстить ему, он почувствовал себя грустным и даже подавленным. Да, маркиз явно не ревновал к нему. Он не проявлял даже ни малейшей тревоги.

XII

Маньяни

Нет ничего мучительней, чем, поверив хотя бы на один час упоительной, романтической сказке, потом постепенно убеждаться, что все это – пустые фантазии. Чем дольше размышлял наш юный герой, тем более остывал его мозг, и он возвращался к печальному сознанию действительности. На чем построил он свои воздушные замки? На взгляде, видимо, ложно понятом, на слове, должно быть, плохо расслышанном. Все доводы рассудка, явно опровергавшие его вздорные предположения, встали перед ним непреодолимой стеной, и он почувствовал, что с неба упал на землю.

«Я просто безумец, – сказал он себе наконец, – что так много раздумываю о загадочном взгляде и непонятных словах женщины, которую я не знаю, а следовательно, не люблю, в то время как решается дело, куда более для меня важное. Пойду, послушаю, не обманул ли меня маркиз и в самом ли деле любители живописи считают, что у меня есть талант, но не хватает умения?»

«И все же, – говорил он себе, выходя из грота, – тут кроется какая-то тайна. Откуда этот маркиз знает меня, если я его ни разу не видел? Почему он обратился ко мне так уверенно, назвав просто по имени, словно мы с ним давнишние приятели?»

«Правда, – говорил себе также Микеле, – он мог видеть меня из окна, или в церкви, или на главной площади в тот день, когда я прогуливался с отцом по городу. Или в то время, как я осматривал висячие сады Семирамиды здешних мест^[11], у которой работаю, он мог находиться в одном из ее будуаров – куда ему, конечно, дозволено являться, чтобы безнадежно вздохнуть о ее загадочных глазах, а окна этих будуаров, якобы всегда плотно запертых, выходят в сад».

Микеле прошел через толпу гостей незамеченным. Хотя имя его было у всех на устах, но в лицо его никто не знал, и потому при нем свободно судили о его работе.

– Из него выйдет толк, – говорили одни.

– Ему многому еще надо научиться, – изрекали другие.

– У него есть фантазия и вкус, эти росписи ласкают глаз и оживляют мысль.

– Да, но вот непомерно длинные руки, а там ноги коротки; некоторые ракурсы обнаживают его полное невежество, а позы неправдоподобны.

– Верно, но во всем есть изящество. Поверьте, этот мальчик (говорят, он почти ребенок) далеко пойдет.

– Он уроженец нашей Катании.

– Ну так он повернется в ней, а дальше ему хода не будет, – заметил один неаполитанец.

В общем, Микеланджело Лаворатори услышал больше благосклонных похвал, чем горьких истин, но, срывая множество роз, он то и дело чувствовал уколы шипов и понял, что успех – это сладкое блюдо, в котором таится немалая толика горечи. Сначала он огорчился. Потом, скрестив на груди руки, вглядываясь в свою работу и не слушая больше, что говорят кругом, он принялся сам разбирать свои достоинства и недостатки с беспристрастием, победившим его самолюбие.

«Все они правы, – думал он, – мои росписи многое обещают, но ничего не доказывают. Я уже раньше решил, что завтра, убирая эти холсты на дворцовый чердак, я все их прорву и впредь буду работать лучше. Я произвел опыт сам над собой и не жалею о нем, хотя и не очень им доволен. Но я сумею использовать его; не знаю, принесет ли он пользу моему кошельку, но таланту моему он будет полезен».

Вновь обретя наконец всю ясность мысли, Микеле решил, что поскольку он не принадлежит к тем, кто уплатил при входе налог в пользу бедных, нечего ему далее любоваться балом, а лучше побыть одному в каком-нибудь тихом уголке дворца, пока он окончательно не успокоится и не будет в состоянии идти домой спать. Рассудок вернулся к нему, но усталость предшествующих дней оставила в его крови и нервах еще некоторое лихорадочное волнение. Он решил подняться наверх, в casino, откуда был выход в сад, на созданные самой природой горные террасы.

Весь дворец был ярко освещен, украшен цветами и открыт для публики. Но, обойдя один раз чудесное здание, толпа приглашенных покинула его. Самое увлекательное – танцы, молодость, музыка, шум, любовь, – все это сосредоточилось внизу, в огромной временно сооруженной зале. На верхних галереях, на роскошных лестницах и в богатых покоях оставалось только несколько либо очень значительных, либо малозаметных лиц: серьезные мужи, занятые государственными делами, да записные кокетки, которые, искусно ведя беседу, сумели привлечь и удержать возле своих кресел кое-кого из мужчин.

К полуночи все, кто не находил особого удовольствия или личного интереса в празднике, разъехались, всюду сделалось просторнее, бал стал выглядеть еще красивее, а убранство залы – еще изящнее.

По узкой потайной лестнице Микеле поднялся в висячий цветник княжны. Здесь, наверху, дул свежий ветер, и юноша с наслаждением опустил на последнюю ступеньку, возле благоухающей клумбы. В цветнике никого не было. Сквозь серебристые газовые занавески видны были покои княжны, тоже пустынные. Но Микеле недолго оставался один; вскоре к нему присоединился Маньяни.

Среди местных ремесленников Маньяни был, несомненно, одним из самых достойных. Он был трудолюбив, умен, отважен и безупречно честен. Микеле чувствовал к нему невольное влечение, с ним одним не испытывал он того стеснения и недоверчивости, какие внушали ему другие рабочие, с которыми, из-за положения своего отца, он вынужден был держаться на равной ноге. Бедный юноша страдал от того, что после нескольких лет привольной жизни снова очутился в обществе парней, немного грубоватых и крикливых; они ставили ему в вину презрительное отношение к ним, а он делал тщетные усилия, чтобы относиться к ним как к равным.

Обо всем этом он поведал теперь Маньяни, ибо тот казался ему самым развитым из всех и в его дружеской откровенности не было ничего обидного или унижающего. Микеле открыл ему свои честолюбивые стремления, все свои слабости, восторги и муки, словом – поверил ему тайны юного сердца. Маньяни понял его, не стал ни в чем упрекать и заговорил с ним серьезно.

– Видишь ли, Микеле, – сказал он, – на мой взгляд, ты ни в чем не виноват. Неравенство – еще и поныне главный закон нашего общества; каждый хочет подняться, и никому неохота опускаться. Не будь этого, народ оставался бы выючной скотиной. Но, слава богу, народ хочет расти, и он растет, как ни стараются помешать ему. Сам я тоже пытаюсь достигнуть кое-чего, иметь что-то свое, не всегда оставаться подчиненным, стать, наконец, свободным! Но какого бы благоденствия я ни достиг, я считаю, что никогда не должен забывать, с чего начал. Несправедливая судьба оставляет в нищете многих, которые, как я, а может, и больше, чем я, достойны были бы выбиться из бедности. Вот почему я никогда не стану относиться с презрением к тем, кому это не удалось, не перестану всей душой любить их и помогать им, насколько это будет в моей власти.

Вот и ты, я вижу, хоть и сторонись своих собратьев по сословию, но у тебя нет к ним ни презрения, ни ненависти. Тебя тяготит их общество, однако при случае ты всегда готов оказать им услугу. Но берегись! В твоем отношении к ним есть некоторая доля высокомерия! Со временем такое дружелюбное снисхождение, может быть, и будет оправданно, но

сейчас, пойми, оно неуместно. Правда, ты образованнее большинства из нас и держишься по-благородному, но разве в этом – истинное превосходство? Разве иной бедняк, который и умнее, и честнее, и храбрее тебя, не вправе считать себя хотя бы равным тебе, даже если у него дурные манеры и грубая речь?

Ты художник, и тебе не раз придется терпеливо сносить наглость богачей; да и вообще, если я не ошибаюсь, жизнь художника – это непрерывное усилие оградить свое личное достоинство от презрения тех, что кичатся своими мнимыми достоинствами: рождением, властью или богатством.

А ты как раз хочешь попасть в их общество, забыв и страх и самолюбие. Ты заранее принимаешь вызов, ты готов помериться силами с великими мира сего, с их желчным тщеславием. Почему же оно кажется тебе менее оскорбительным и дерзким, чем простодушное панибратство малых сих? А вот я скорее прошу обиду невежде, нежели какому-нибудь изысканному господину, и предпочитаю получить тумака от своего товарища, чем выслушивать милые шуточки тех, кто стоит якобы выше меня.

Или тебе скучно с нами потому, что у нас мало мыслей и мы не умеем красиво излагать их? Но ведь у нас есть нечто другое, и если бы ты это понял, тебя потянуло бы к нам. В самой нашей простоте есть своя хорошая сторона, и она должна была бы вызывать уважение и умиление у тех, кто ее утратил. А может быть, тебе противны наши недостатки или пороки? Но этих пороков – мне самому больно их видеть, и я изо всех сил стараюсь воздержаться от них, – разве их нет и в высшем обществе? Правда, светские люди лучше умеют скрывать их – развратный ум приукрашивает и изощряет развратные чувства, но разве от этого пороки становятся извинительней? И сколько бы ни прятались эти баловни века, их грехи и преступления просачиваются и в нашу среду, и нередко, даже почти всегда, именно среди нас ищут они себе соучастников и даже жертв.

Трудись же, Микеле, надейся, преуспевай, но только не в ущерб справедливости и добру; ибо иначе, возвысившись в мнении немногих, ты в той же мере упадешь в мнении большинства.

– Все, что ты говоришь, – правильно и разумно, – ответил Микеле, – но верный ли ты делаешь вывод? Могу ли я продолжать заниматься живописью и в то же время находиться исключительно, или хотя бы преимущественно, в обществе рабочих, среди которых волею судеб родился? Подумай хорошенько, и ты сам увидишь, что это невозможно; произведения искусства находятся в руках богачей, они одни хранят, покупают и заказывают картины, статуи, вазы, чеканные изделия и гравюры, и, чтобы получить у них работу, надо жить среди них, быть таким же, как они. Иначе художник обречен на забвение, на неизвестность и нищету. Наши предки, благородные мастера Средневековья и Возрождения, были одновременно и художниками и ремесленниками. Их положение было ясным, и в зависимости от таланта становилось более или менее блестящим. Теперь все изменилось. Число художников возросло, а среди богачей нет уже бывших вельмож. Утрачен хороший вкус, и современные меценаты перестали быть знатоками. Меньше строится дворцов: для создания одного музея тридцать дворцов должны быть распроданы по мелочам либо в уплату за долги, либо потому, что наследники знатных родов предпочитают деньги произведениям искусства. Итак, для того чтобы найти работу и заслужить своим ремеслом славу, теперь мало быть талантливым мастером. Случай, а еще чаще интрига помогают иным выплыть на поверхность, тогда как многие другие, и, быть может, более достойные, идут ко дну.

Я же не рассчитываю на случай и слишком горд, чтобы участвовать в интригах. Что же мне остается делать? Ждать, пока какой-нибудь любитель обратит внимание на одну из моих фигур, довольно смело написанных на холсте клеевой краской, и настолько поразится моей работой, что на следующий же день разыщет меня в кабачке и закажет картину? Но такая удача выпадает в одном случае из ста. И даже при такой удаче я буду обязан куском

хлеба покровительству богача, принимающего во мне участие. Рано или поздно, а придется мне склониться перед ним и просить, чтобы он рекомендовал меня своим приятелям.

Так не лучше ли будет, если я как можно скорее и как только обрету достаточную уверенность в своих силах брошу передник и леса, приму вид человека, который не просит милостыню, и с гордо поднятой головой появлюсь в среде богачей? Ведь если я выйду из кабака под руку с веселыми собратями по пиле или мастерку, ясно, что мне не попасть уже во дворец как гостю, а только как поденщику. Да вот сегодня, захоти я подойти к одной из этих красавиц и пригласить ее танцевать, меня тут же высмеяли бы и выгнали вон. Но должно же наступить время, когда эти красавицы будут сами заискивать передо мной и когда мой талант станет для меня титулом, способным успешно тягаться в свете с титулом герцога или маркиза. Но все это лишь при условии, что я усвою себе привычки и манеры аристократии. Я должен стать тем, что называется человек из хорошего общества, а иначе, каким бы талантом я ни обладал, никто меня и не заметит. Значит, добиться успеха как художник я могу, только уничтожив в себе ремесленника. Я должен быть сам хозяином своих произведений и продавать их как собственность, а не только выполнять их по заказу как поденщик. Ну а для этого нужно иметь известность, а известность в наши дни не приходит за художником на его убогий чердак, он обязан сам завоевать ее, расплачиваясь за нее своей личностью, вращаясь среди тех, кто создает ее, требуя ее как право, а не выпрашивая как милость. Суди сам, Маньяни, как мне выйти из этого порочного круга! В то же время, клянусь тебе, меня терзает мысль, что я вынужден буду словно бы отречься от среды своих предков и меня станут обвинять во вздорности и бесстыдстве те самые люди, чьим собратом и другом я себя чувствую. Ты видишь теперь, что мне надо покинуть этот край, где так хорошо знают моего отца; здесь мой разрыв с прошлым был бы особенно оскорбительным для окружающих и особенно мучительным для меня самого, больше, чем где-либо в другом месте. Я прибыл сюда, чтобы выполнить свой долг, искупить некоторые ошибки, но как только задача моя будет закончена, мне необходимо будет вернуться в Рим и там уже вступить в свет под личной, быть может и преждевременной, свободного человека. Если я этого не сделаю, прощай моя будущность! Тогда лучше отказаться от нее сегодня же!

– Да! да! Понимаю, – ответил Маньяни, – тебе необходимо любой ценой добиться самостоятельности. Работа поденщика – это рабство, труд художника – это труд свободного человека! Я согласен с тобой, Микеле, ты имеешь на это право, следовательно, это твой долг, твоя судьба. Но как печальна и жестока участь людей выдающихся! Как, отказаться от семьи, покинуть родину, играть комедию ради того, чтобы чужие признали тебя своим, надеть маску, чтобы быть увенчанным лаврами, вступить в борьбу с бедняками, осуждающими тебя, и с богачами, которые едва тебя терпят, – да, это истине ужасно! Не захочешь и славы! Да и что это за слава, если ее покупают такой ценой!

– Слава, как ее понимают обычно, в самом деле ничто, мой друг, – с жаром ответил Микеле, – это всего лишь слабый шум, который выдающийся человек может произвести в мире. Позор тому, кто отрекается от родной крови, кто рвет дружеские связи ради пустого тщеславия! Но слава, как ее понимаю я, совсем не то! Это проявление и развитие таланта, который носишь в себе. Если на пути своем ты не встретишь просвещенных ценителей, пылких поклонников, строгих критиков и даже завистливых клеветников, если ты не используешь всех возможностей, не слушаешь всех советов и не выдержишь всех преследований, порождаемых громкой известностью, то гений твой зачахнет от разочарования, уныния, сомнений или непонимания самого себя. Только благодаря победам, битвам, страданиям, ожидающим нас на пути к высокой цели, наш талант может достигнуть истинно чудесного развития и оставить в мыслящем мире могучий, неизгладимый, навеки плодотворный след. Ах, кто истинно любит свое искусство, жаждет для своих творений славы не для того, чтобы жило его имя, а чтобы искусство не умирало. И не нужны мне были бы лавры моего патрона

Микеланджело, если бы я мог оставить потомству картину (пусть даже имя мое осталось бы неизвестным), достойную сравнения со «Страшным судом»^[12]! Слава – это скорее мученичество, чем наслаждение. Подлинный художник ищет этого мученичества и терпеливо переносит его. Он знает, что таково тяжкое условие успеха; а успех не в том, чтобы все восхищались тобой и одобряли тебя, а в том, чтобы создать и оставить после себя нечто, во что бы ты сам верил. Но что с тобой, Маньяни? Ты огорчен? Ты не слушаешь меня?

XIII

Агата

– Напротив, я слушаю тебя, Микеле, и слушаю очень внимательно, – ответил Маньяни, – а огорчаюсь я потому, что понимаю всю силу твоих доводов. Ты не первый, с кем мне приходится говорить о подобных вещах; я встречал уже не одного молодого рабочего, мечтающего бросить свое ремесло и стать купцом, адвокатом, священником или художником; и надо сознаться, с каждым годом таких дезертиров становится все больше. Чуть только кто из нас почувствует в себе способность мыслить, как тотчас же почувствует и честолюбие; до сих пор я изо всех сил старался подавлять такие стремления и у других и у самого себя. Мои родители, гордые и упрямые, как все старые люди и честные труженики, научили меня свято чтить семейные традиции и сословные обычаи и хранить им верность. Вот почему я твердо решил, обуздывая порой собственные свои порывы, не искать удачи помимо своего ремесла; вот почему я сурово порицал честолюбие моих юных товарищей, едва оно начинало проглядывать, вот почему мое участие и симпатия к тебе с первых же слов выразились в предостережениях и упреках.

Мне кажется, что до встречи с тобой я был прав, ибо остальные в самом деле были тщеславны, и тщеславие это сделало бы их черствыми эгоистами. Я чувствовал себя достаточно сильным, чтобы то бранить их, то высмеивать, то уговаривать. Но с тобой я чувствую себя слабым, потому что в своих рассуждениях ты сильнее меня. Ты изображаешь искусство такими благородными, такими яркими красками, так глубоко ощущаешь его высокую миссию, что я не смею спорить с тобой. Может быть, ты, именно ты, имеешь право ничего не щадить ради достижения своей цели, даже собственного сердца, подобно тому как я не щадил своего ради того, чтобы остаться в неизвестности... И все же совесть моя не может примириться с подобным решением, ибо оно, как я вижу, ничего не решает. Ты образованнее меня, Микеле, скажи же, кто из нас грешит перед божественной истиной?

– Я полагаю, друг мой, что мы оба правы, – ответил Микеле, – и полагаю, что в эту минуту мы с тобой как бы представляем те же противоречия, которые поднимаются сейчас в душе у народа во всех просвещенных странах. Ты защищаешь чувство братского единения; оно свято и нерушимо; оно восстает против моих убеждений; но мысль, которую вынашиваю я, велика и правдива, она так же священна в своем стремлении к борьбе, как твоя вера в правоту самоотречения и молчания. Ты следуешь долгу, я добиваюсь права. Признай же и мою правоту, Маньяни, а я, я уважаю тебя, ибо у каждого свой идеал, и он был бы неполным, если бы не дополнялся идеалом другого.

– Да, ты говоришь о вещах отвлеченных, – задумчиво ответил Маньяни, – и, кажется, я тебя понимаю. Но по сути дела мы не решили вопроса. Современный мир бьется, словно между двумя подводными скалами, между покорностью судьбе и борьбой. Из любви к своему народу я готов страдать вместе с ним и провозглашать свое единодушие с ним. Ты, быть может, по той же причине, хочешь сразаться и победить во имя его. Оба эти способа проявить себя настоящим мужчиной как бы взаимно исключают друг друга. Что же должно взять верх перед лицом божественного правосудия: покорность или борьба? «И то и другое», – ответил ты. Но как примирить эти две силы на земле, где людьми управляют не божеские законы? Я тщетно ищу решения.

– Да к чему и искать его? – сказал Микеле. – В наши дни на земле оно невозможно. Народ в целом может добиться свободы, прославиться великими битвами, добрыми нравами, гражданскими доблестями, но у каждого человека из народа – своя судьба: тот, кто чувствует, что его призвание – трогать сердца, должен жить в братском единении с людьми

простыми, тот, кто призван просвещать умы, должен стремиться к свету, безразлично, в одиночестве ли он будет или даже среди врагов своего сословия. Великие художники в смысле материальном работали на богатых, а в духовном – для всего человечества, ибо последний бедняк может почувствовать красоту их творений. Пусть же каждый следует своему призванию и повинуетя таинственной цели Божественного провидения! Отец мой любит петь в кабачках веселые песни и тем самым воодушевлять своих товарищей. То, что он рассказывает, сидя на скамейке на углу улицы, его бодрость и усердие во время совместной работы на лесах поднимают дух у всех, кто видит и слышит его. Небо одарило его способностью воздействовать непосредственно на живое восприятие своих братьев, и притом самыми простыми способами: рвением в работе, откровенной беседой во время отдыха. А вот я люблю уединенные храмы, старинные богатые и мрачные дворцы, античные шедевры, пылкую мечтательность, тонкое наслаждение искусством. Общество аристократов не вызывает у меня тревоги. На мой взгляд, они слишком выродились, чтобы можно было их бояться. Но в их именах мне слышится нечто поэтическое, и это делает их для меня какими-то отвлеченными фигурами, тенями, если хочешь, и мне нравится с улыбкой бродить среди этих не страшных для меня призраков. Мне милы те, кого уже нет, я живу в прошлом, через него получаю я представление о будущем, но признаюсь тебе, что настоящего я вовсе не знаю, и данная минута моего существования для меня как бы не существует, ибо все реальности, которые я нахожу, роюсь в прошлом, я применяю к будущему, тем самым изменяя и приближая их к идеалу. Ты видишь, что я не сумел бы достигнуть тех же целей, каких достигли мой отец или ты с помощью тех же средств, ибо ими я не владею.

– Микеле, – воскликнул Маньяни, ударив себя по лбу, – ты победил! Придется мне отпустить тебе грехи и избавить от нравоучений. Но я страдаю, Микеле, я так страдаю! Твои слова причиняют мне ужасные муки!

– Но почему же, милый Маньяни, почему?

– Это моя тайна, но тебе я открою ее, не нарушая ее святости. Ты думаешь, и у меня не было невинных честлюбивых мечтаний, тайного, сокровенного желания избавиться от зависимости, в которой я живу? Разве ты не знаешь, что в сердце каждого человека скрывается жажда счастья? Или ты полагаешь, что сознание выполняемого долга заставляет меня утопать в блаженстве?

Так слушай же и суди о моих мучениях. Я люблю, люблю безумно, вот уже пять лет женщину, которая по своему положению в свете так же далека от меня, как небо от земли. Но поскольку совершенно невероятно – я всегда знал это, – чтобы она бросила на меня хотя бы один сострадательный взгляд, я обрел какое-то восторженное упоение и в своем страдании и в сознании своей бедности, своего вынужденного ничтожества в свете. С горечью решил я не подражать тем, кто хочет возвыситься, рискуя подвергнуться насмешкам со стороны и выше и ниже стоящих. Будь я одним из них, думал я, быть может, настал бы день, когда мне позволено было бы галантно поднести к своим губам руку той, кого я обожаю, но едва я открыл бы рот, чтобы выдать свою тайную страсть, как меня оттолкнули бы, высмеяли, попрали ногами. Нет, лучше я останусь безвестным, ничтожным ремесленником и в моих безумных притязаниях никогда не посмею возвыситься до мысли о ней. Пусть и она считает невероятными мои мечтания о ней. По крайней мере под блузой рабочего она не оскорбит моего невидимого страдания, а обнаружив, не растравит его, стыдясь и опасаясь страсти, которую сама же внушила. Теперь же она проходит мимо меня, как мимо вещи, совершенно для нее безразличной, но которую она не считает себя вправе ни оскорбить, ни разбить. Она здороваётся со мной, улыбается мне, разговаривает со мной как с существом совершенно иной породы. Это как будто и незаметно, но заложено в ней самой природой, я прекрасно это чувствую и понимаю. Теперь она и не думает о том, чтобы унижить меня, да она и не хотела бы этого, и чем меньше я стараюсь ей понравиться, тем меньше боюсь, что она оскорбит

меня своим состраданием. Все было бы иначе, будь я художником или поэтом; если бы я преподнес ей ее портрет, написанный трепетной рукой, или сонет, сочиненный в ее честь, она иначе улыбалась бы мне, иначе говорила бы со мной. В ее доброте сквозила бы осторожность, или насмешка, или снисходительность, в зависимости от того, удалась бы моя попытка проявить себя в искусстве или нет. О, как это отдалило бы меня от нее, как заставило бы опуститься еще ниже, чем сейчас! Лучше уж я останусь простым рабочим и буду служить ей, продавая труды рук своих, чем сделаюсь новичком в искусстве, которому она оказывала бы покровительство или жалела бы, как безумца!

– Ты прав, друг, – сказал Микеле, в свою очередь задумываясь. – Мне нравится твоя гордость, и, пожалуй, я сам, даже в моем положении и с моими замыслами, последовал бы твоему примеру, если бы и мной владела любовь к женщине, от которой меня отделяли бы, правда, нелепые, но непреодолимые препятствия.

– О, ты совсем другое дело, Микеле. Если сейчас и существовали бы препятствия между тобой и знатной синьорой, то ты бы их быстро преодолел; ты сам сказал, что наступит день, когда светские дамы начнут перед тобой заискивать. Эти слова, вырвавшиеся у тебя из души, сначала показались мне заносчивыми и смешными, но теперь, когда я понял тебя, я нахожу их естественными и законными. Да, ты будешь нравиться самым высокопоставленным дамам, потому что ты – в расцвете юности, и красота твоя – нежная и даже немного женственная, как у тех, кто рожден для праздности, ибо ты от природы изящен, у тебя прекрасные манеры, ты умеешь непринужденно носить хорошее платье, а все это необходимо в придачу к таланту и успеху для того, чтобы гордые женщины могли забыть о плебейском происхождении художника. Да, ты сможешь быть в их глазах настоящим мужчиной, тогда как я, как бы ни прихорашивался, навсегда останусь простым поденщиком и моя грубая шкура все равно будет проглядывать. Да теперь уж и поздно, мне двадцать шесть лет! Но меня бросает в дрожь, и я чувствую странное волнение при мысли, что если бы тогда, пять лет тому назад, когда я был еще мягок, как воск, и податлив, как младенец, кто-нибудь оправдал и облагородил в моих глазах пробуждавшиеся во мне порывы, если бы кто-нибудь заговорил со мной так, как ты заговорил сейчас, быть может, и я ступил бы на тот же путь, что и ты, устремился бы на то же упоительное поприще. Ум мой жадно воспринимал тогда все прекрасное. Я мог петь, как соловей, не понимая сам звуков своей песни, но охваченный каким-то диким вдохновением. Я мог тогда прочесть, понять и запомнить множество книг. Мне была понятна и природа. Я читал в небесах и в морских горизонтах, в зелени лесов и в синеве высоких гор. Мне кажется, я мог бы стать тогда музыкантом, поэтом, художником-пейзажистом. А в сердце моем уже заговорила любовь, уже явилась мне та, к которой доныне прикованы мои помыслы. О, как это поощрило бы меня, если бы я поддался тогда безумным искушениям!

Но я все подавил в сердце своем, боясь, что друзья и родные сочтут меня отступником, боясь, что желание возвыситься лишь унизит меня в их глазах, да и в моих собственных тоже. Я закалил себя работой: руки мои огрубели, огрубел и дух. Грудь моя, правда, стала шире, а сердце в ней разрослось, словно полип, грызущий меня и поглощающий всю мою жизнь. Но лоб мой стал уже, в этом я уверен, воображение застыло, поэзия во мне умерла. Мне остались только разум, верность, твердость и самоотверженность, иначе говоря – страдание! Ах, Микеле, раскрой свои крылья и покинь эту долину скорби! Лети, как птица, к куполам дворцов и храмов и оттуда, с высоты, взгляни на несчастный народ, влачащийся и стонущий здесь, внизу. Люби его, если можешь, или хотя бы жалей, но никогда не делай ничего, что могло бы в твоем лице унизить его.

Маньяни был глубоко взволнован, но вдруг волнение его стало иным: он вздрогнул, быстро обернулся назад и протянул руку к веткам густого розового мирта, прикрывавшего за его спиной темное углубление в стене. Резким движением он раздвинул эту зеленую завесу;

за ней оказался потайной ход, ведущий, должно быть, в помещение для слуг и потому скрытый от взоров гостей. Микеле, удивленный поведением Маньяни, бросил взгляд в этот уходящий во мрак коридор, едва освещенный слабым светом лампы. Ему показалось, что там, в темноте, мелькнула какая-то белая фигура, но такая неясная, почти неуловимая, что она вполне могла оказаться всего лишь отблеском более яркого света, проникающего извне в глубь прохода. Микеле хотел уже броситься туда, но Маньяни удержал его.

– Мы не имеем права, – сказал он, – подглядывать за тем, что происходит в закрытых покоях этого святилища. Мое первое движение, вызванное любопытством, было невольным: мне послышались здесь, вблизи, чьи-то легкие шаги... Но это мне, без сомнения, пригрезилось! Мне почудилось, будто ветки куста шевелятся. Такое наваждение нашло на меня, должно быть, от страха при мысли, что тайна моя чуть было не сорвалась с моих губ; я лучше уйду, Микеле. Мне нужно прийти в себя и дать рассудку время усмирить бурю, поднятую в моей груди твоими словами и твоим примером!..

Маньяни поспешно ушел, а Микеле снова вернулся в балльный зал. Признание его молодого друга, охваченного безрассудной любовью к знатной даме, вновь пробудило в нем волнение, которое, ему казалось, он уже поборол. Чтобы рассеяться, он стал бродить вокруг танцующих, ибо чувствовал, что его собственное безумие сейчас столь же опасно, как и безумие Маньяни. Еще многие годы должны были пройти, прежде чем он сможет с помощью своего таланта почувствовать себя равным в любом обществе. Пока же, находя в этом для себя какую-то горькую радость, он принялся рассматривать самых юных из танцующих женщин, в мечтах своих выбирая среди них ту, на которую сможет в один прекрасный день поднять дерзкий взор, горящий любовью. Но он все не находил ее, ибо продолжал поочередно переносить свою фантазию с одной на другую; а поскольку, строя подобные воздушные замки, можно без всякого риска быть крайне разборчивым, он без конца продолжал искать и мысленно оценивать сравнительные достоинства юных красавиц.

Вот какие мысли блуждали в его затуманенном мозгу, когда он вдруг увидел княжну Пальмароза. До тех пор он старательно держался на известном расстоянии от танцующих, скромно пробираясь вдоль скамей амфитеатра, но теперь невольно выдвинулся вперед, и хотя толпа не была настолько густой, чтобы остаться в ней незамеченным, неожиданно очутился в первых рядах, среди лиц, одно другого знатнее или богаче.

На этот раз инстинктивная гордость не подсказала ему всей опасности его положения. Непреодолимый магнит привлекал и удерживал его на месте: княжна танцевала.

Само собой разумеется, она делала это только ради формы, ради приличия или из любезности, ибо она просто двигалась, не испытывая, видимо, при этом особого удовольствия. Но двигалась она изящнее, чем иные танцевали, и, не стараясь быть грациозной, была воплощенной грацией. Эта женщина обладала каким-то поистине необъяснимым обаянием, оно исходило от нее, как тончайший аромат, и в конце концов все покоряло и все затмевало вокруг. Такой могла быть королева, окруженная своими придворными, королева страны, где царит духовное и телесное совершенство.

Было в ней целомудрие святых девственниц, всемогущих своей невинностью; бледность ее, не чрезмерная и не болезненная, свидетельствовала об отсутствии сильных страстей. Ее замкнутый образ жизни объясняли строгой воздержанностью или же исключительным равнодушием. Но при этом она не походила на холодную статую. Доброта одушевляла ее несколько рассеянный взгляд и придавала ее слабой улыбке несказанную прелесть.

Здесь, при свете тысячи огней, она явилась Микеле совсем иной, непохожей на ту, которую он видел час тому назад в гроте наяды, когда, то ли из-за странного освещения, то ли по прихоти его собственной фантазии, ему почудилось в ней даже что-то пугающее. Ее безразличие казалось теперь скорее спокойным, чем грустным, скорее привычным, чем вынуж-

денным. Сейчас она была оживлена ровно настолько, чтобы привлекать сердца, оставляя страсти спокойными.

XIV

Барбагалло

Если бы Микеле способен был отвести глаза от предмета своего созерцания, он увидел бы в нескольких шагах от себя своего отца, игравшего в оркестре на флажолете. Пьетранджело обожал искусство во всех его видах. Он любил и понимал музыку и по слуху играл на многих инструментах, более или менее удачно попадая в тон и соблюдая такт. Убедившись, что все порученные ему работы по убранству дворца закончены, и оказавшись без дела, он не смог устоять против искушения и присоединился к музыкантам, которые хорошо знали его и любили за веселый нрав; им нравилась его славная, добрая физиономия и тот пыл, с каким он время от времени повторял на своем инструменте какую-нибудь громкую ритурнель. Когда вернулся из буфетной деревенский скрипач, которого он временно заменил, Пьетранджело завладел свободными цимбалами, а к концу кадрили он уже с упоением водил смычком по толстым струнам контрабаса.

В особенном восторге он был оттого, что под его игру танцевала сама княжна, а она, увидев на эстраде его лысую голову, издали улыбнулась ему и сделала едва заметный дружеский знак, тронувший доброго старика до глубины души. Микеланджело нашел бы, пожалуй, что отец его проявляет слишком много усердия на службе у своей дорогой хозяйки и недостаточно строго соблюдает свое достоинство ремесленника. Но Микеле, воображавший, будто он уже излечился, будто забыл и думать о взгляде княжны Агаты, настолько в этот момент вновь подпал под ее чары, что мечтал лишь о том, как бы еще раз встретить ее взгляд.

Единственное хорошее платье, которое он, как последнюю память своих неизлечимых аристократических замашек, мужественно пронес на плечах в дорожном мешке через ущелья Этны, было сшито по моде и со вкусом. Прекрасная фигура и благородная внешность Микеле, его костюм и манеры не давали никакого повода придаться к чему-либо, однако вот уже несколько минут, как присутствие его среди лиц, непосредственно окружавших княжну, кололо глаза синьору Барбагалло, мажордому дворца Пальмароза.

Этот человек, обычно мягкий и снисходительный, имел, однако, свои антипатии и иной раз приходил в такое негодование, что становился просто смешным. Он признавал, что у Микеле есть талант, но то раздражение, с каким молодой человек выслушивал его зачастую вздорные замечания, и недостаточное почтение, которое он выказывал особе мажордома, заставляли последнего недоверчиво и почти неприязненно относиться к юноше. По понятиям Барбагалло, досконально изучившего науку о титулах и гербах, благородными были только люди *благородные*, а все остальные слои общества он смешивал воедино и смотрел на них с немым, но непобедимым презрением. Поэтому он был обижен и оскорблен при виде того, как гордый дворец его повелителей открыли для всякого, как он выражался, сброда: коммерсантов, юристов, дам еврейского происхождения, подозрительных путешественников, студентов, чиновников, словом – для всех тех, кто за золотую монету мог купить себе право танцевать в кадрили с княжной. Такой бал по подписке был новшеством, занесенным из-за границы, и опрокидывал все представления Барбагалло о приличиях.

Уединение, в котором постоянно жила княжна, помогло достойному мажордому полностью сохранить свои иллюзии и предрассудки касательно превосходства знати, и поэтому, по мере того как проходила ночь, он становился все более и более грустным, тревожным и мрачным. Он только что видел, как княжна обещала кадрили молодому адвокату, имевшему дерзость пригласить ее, а заметив, что Микеланджело Лаворатори стоит совсем близко и

смотрит на нее восторженными глазами, он подумал, уж не собирается ли и этот пачкун танцевать с ней.

«Мир, видно, перевернулся вверх дном за последние двадцать лет, – сказал он себе. – Если бы такой бал давался здесь во времена князя Диониджи, все было бы по-другому. Каждая группа гостей держалась бы отдельно, низшие не смешивались бы с вышестоящими. А тут все сословия перепутались, просто базар какой-то, бесовское сборище.

Кстати, – подумал он, – что делает здесь этот горе-художник? За вход он не платил, он даже не купил себе того права, какое сегодня, увы, каждый мог купить у ворот благородного дворца Пальмароза. Он попал сюда как рабочий. Если он собирается играть на тамбурине, как его отец, или присматривать за кенкетами^[13], пусть убирается из первых рядов. Ну, я буду не я, ежели не собою с него спесь! Сколько бы он ни разыгрывал из себя великого художника, я отправлю-таки его назад, к ведерку с краской! Следует проучить его хорошенько, раз этот старый чудаков отец только балует его, а не может направить на путь истинный».

Приняв столь доблестное решение, но не осмеливаясь самолично приблизиться к кружку княжны, синьор Барбагалло попытался издали привлечь внимание Микеле, делая ему всевозможные знаки, на которые тот не обращал ни малейшего внимания. Тогда мажордом, видя, что кадрили вот-вот кончатся и княжна неизбежно встретит на своем пути молодого Лаворатори, бесцеремонно торчавшего прямо перед ней, решил на смелый ход, чтобы положить этому конец. Подобно легавой, пробирающейся между колосьями ржи, он тихонько проложил себе путь между присутствующими и, осторожно взяв молодого человека под руку, попытался увлечь его в сторону, без огласки и шума.

В это мгновение Микеле поймал тот взгляд княжны, которого искал и ожидал так долго.

Взгляд этот пронизал его словно электрическим током, хотя показался ему слегка затуманенным осторожностью, и когда он почувствовал, что кто-то берет его под руку, то, не поворачивая головы, не потрудившись даже взглянуть, с кем имеет дело, он резким движением локтя оттолкнул нескромную, схватившую его руку.

– Мастер Микеле, вы что здесь делаете? – шепнул ему на ухо возмущенный мажордом.

– А вам какое дело! – ответил юноша, повернувшись к нему спиной и пожав плечами.

– Вам не полагается здесь стоять, – продолжал Барбагалло, теряя терпение, но все еще сдерживаясь и говоря шепотом.

– А вам полагается? – ответил Микеле, глядя на него горящими от гнева глазами и надеясь отпугнуть его своей резкостью.

Но Барбагалло был по-своему смел и скорее позволил бы плюнуть себе в лицо, чем хотя бы на йоту отступить от того, что почитал своим долгом.

– Я, сударь, – сказал он, – нахожусь здесь при исполнении своих обязанностей, а вы извольте-ка исполнять ваши. Сожалею, если это вам не по вкусу, но каждый должен знать свое место. И нечего смотреть так дерзко! Где ваш входной билет? Нет его у вас, я знаю. Если вам позволили взглянуть на праздник, то, само собой разумеется, при условии, что вы, как ваш отец, будете либо помогать в буфетной, либо смотреть за освещением... Ну, что именно вам поручено? Ступайте к дворецкому, он вам укажет, что делать, а если вы ему больше не нужны, ступайте отсюда и не вертитесь под носом у дам.

Синьор Барбагалло продолжал говорить вполголоса, чтобы его слышал один Микеле, но его сердитые взгляды и беспокойные жесты были достаточно выразительны и начинали привлекать внимание окружающих. Микеле уже готов был уйти, ибо видел, что не в силах более противиться мажордому. Поднять руку на старика он не мог, а вместе с тем никогда еще так не кипела его сицилийская кровь и так сильно не чесались руки. Он с улыбкой подчинился бы приказанию, будь оно выражено вежливым тоном, а теперь просто не знал, как поступить, как оградить свое достоинство от нелепых нападков мажордома; гнев и стыд душили его.

Барбагалло стал грозить, все так же вполголоса, что сейчас позовет людей, чтобы вывести его. Гости, стоявшие поблизости, смотрели с насмешливым удивлением на незнакомого юношу, вступившего в препирательство с мажордомом. Дамы, рискуя измять свои наряды, бросились прочь в толпу, чтобы отдалиться от него. Они думали, что это пробравшийся на бал мошенник или дерзкий интриган, ищущий повода для скандала.

Но в ту минуту, когда бедный Микеле готов был лишиться чувств от гнева и обиды, ибо в ушах у него звенело, а ноги подкашивались, слабый крик, раздавшийся в двух шагах от него, заставил всю его кровь прихлынуть к сердцу. Это был тот самый крик, крик боли, удивления и нежности, который, как ему показалось, он уже слышал сквозь сон в вечер прибытия своего во дворец. Повинуясь необъяснимому для него самому порыву доверия и надежды, он обернулся на этот дружественный призыв и ринулся наугад в толпу, словно ища приюта на груди, испустившей этот крик. Неожиданно он оказался возле княжны и ее дрожащая рука с силой сжала его руку. Этот взаимный порыв, этот миг душевного смятения промелькнул как вспышка молнии. Удивленные зрители расступились перед княжной, и она прошла через залу, опираясь на руку Микеле. Кавалер ее так и остался склоненным в последнем поклоне, а совершенно ошеломленный Барбагалло готов был провалиться сквозь землю. Окружающие, посмеиваясь над изумлением старого слуги, решили, что Микеле, очевидно, какой-нибудь знатный иностранец, недавно прибывший в Катанию, и княжна поспешила самым деликатным образом и без излишних объяснений загладить перед ним оплошность своего мажордома.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Эмманюэль Араго (1812–1896) – французский писатель и политический деятель, известный своими демократическими симпатиями. Близкий друг семьи Жорж Санд в течение многих лет. В письме к нему от 9 декабря 1846 г. она напоминает, что на «вечере, проведенном в кругу семьи», Араго рассказывал легенду, связанную с семейными портретами, которую Жорж Санд обработала и вставила в «Пиччинино».

2.

1845–1847 годы – период большой творческой активности Жорж Санд. После «Мельника из Анжибо» она создает «Теверино», «Грех господина Антуана», «Чертово болото», «Лукрецию Флориани». Первое упоминание о «Пиччинино» мы находим в письме Жорж Санд от 7 августа 1846 года, а с 5 мая по 17 июля 1847 года роман уже печатается в газете «Пресс».

3.

Спалланцани Ладзаро (1729–1799) – итальянский натуралист. Кроме ботаники и зоологии, занимался геологией, физикой, химией. Жорж Санд ссылается на его работу «Путешествие в Королевство обеих Сицилий и в некоторые области Апеннин» (франц. перевод 1800 г.), посвященную главным образом изучению вулканов.

4.

Пуццолан – рыхлый слой, образованный вулканическим пеплом, пемзой и туфолавами, выброшенными при извержении.

5.

Харибда и Сцилла (греч. миф.) – два чудовища, жившие на прибрежных скалах узкого пролива и губившие всех проплывающих мимо мореходов.

6.

Морреалес – имя, которым называли сицилийского художника и архитектора Пьетро Новелли (1608–1647), по месту его рождения, городу Морреале. Широко известна его роспись свода одной из церквей в Палермо.

7.

Флорентийская школа – художественная школа Италии эпохи Возрождения. Ее основоположник – Джотто. Особенного расцвета флорентийская школа достигла в XV в., когда работали архитекторы Ф. Брунеллески, Л. В. Альберти, скульпторы Донателло, Веррокьо, живописцы Мазаччо, А. дель Кастаньо, С. Боттичелли и другие. Вершиной искусства этой школы является творчество Леонардо да Винчи.

8.

Циклопы, или киклопы (греч. миф.), – одноглазые великаны; по преданию – первые жители Сицилии.

9.

...с волосами, забранными в кошелек. – Кошелек в данном случае – мешочек из черной тафты, который мужчины надевали на длинные, зачесанные назад волосы.

10.

Каролина, или Мария-Каролина (1752–1814), – жена Фердинанда IV, короля обеих Сицилий, дочь Марии Терезии Австрийской.

11.

...висячие сады Семирамиды здешних мест. – Висячие сады в Вавилоне и в Мидии считались одним из семи чудес света. Их сооружение приписывают полулегендарной царице Ассирии Семирамиде.

12.

«Страшный суд» (1541) – знаменитая фреска Микеланджело в Сикстинской капелле.

13.

Кенкет – масляная лампа, резервуар которой находится выше фитиля.